

A person wearing a dark, hooded cloak is walking away from the viewer on a narrow, rocky path that winds up a mountain. The path is surrounded by low-lying, autumn-colored vegetation. In the background, a massive, steep mountain face rises, partially covered in snow and ice. The sky is a pale, hazy blue. The overall scene is dramatic and atmospheric, typical of a fantasy or adventure setting.

Светлана Дроздова

**Легенда о
Зеркальном
Королевстве.
Книга 6**

Светлана Дроздова

**Легенда о Зеркальном
Королевстве. Книга 6**

«Автор»

2026

Дроздова С. В.

Легенда о Зеркальном Королевстве. Книга 6 / С. В. Дроздова —
«Автор», 2026

Мир трескается по швам. Распад стирает имена, пожирает память и обращает живых в пыль, поющую на ветру. Эйнар, человек без отражения и рода, несёт в себе пустоту с рождения. Он видит смерти в отражениях — и платит за это годами жизни. Его цель — остановить Распад с помощью древнего Стекла, но в центральном Домене «Чёрный Пик» объявлена охота: самозванный Лорд Корвус назначил награду за голову Пустого. Преследуемый наёмниками и тенями, Эйнар ведёт за собой отряд отверженных. Сквозь земли, которые не кормят и не помнят, они идут к зеркалам Корвуса, чтобы сказать правду. Но чем ближе цель, тем страшнее плата: стекло прорастает сквозь плоть, а имя исчезает из памяти мира. Война с пустотой — это не битва мечей. Это выбор между властью и забвением. И цена этого выбора — твоё собственное отражение.

© Дроздова С. В., 2026

© Автор, 2026

Светлана Дроздова

Легенда о Зеркальном Королевстве. Книга 6

ГЛАВА 81. ДОМЕН ГРАНИТНЫХ КЛЫКОВ

Часть первая. Земля, которая не кормит

I

Дорога привела их к границе Домена на исходе третьего дня после того, как они покинули заставу «Чёрный Клык». Эйнар не считал переходы — сбился со счёта после того, как память начала путать дни с ночами, а рассветы — с закатами. Он просто шёл, опираясь на посох, и чувствовал, как пустота внутри него — та самая, которая росла с каждым шагом, с каждым ударом сердца, — становилась всё более нетерпеливой. Она не болела — она ждала. Как зверь, который затаился в норе, зная, что добыча сама придёт к нему. Как память, которая знает, что её забудут, но продолжает цепляться за последние образы. Как имя, которое стирается с могильной плиты, но всё ещё различимо, если смотреть под определённым углом.

Ирис шла рядом, её плечо касалось его плеча, и в этом прикосновении, в этом молчании, в этом ожидании было что-то, от чего Эйнару становилось тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память. Память о том, что он не один. Что его держат. Что его помнят. Что его любят. Даже когда сил не оставалось. Даже когда надежда умирала. Даже когда пыль пела громче обычного, и в её песне слышались голоса тех, кто уже не мог говорить.

Он чувствовал её дыхание — ровное, спокойное, почти механическое. И это дыхание, этот пульс, это тепло были единственным, что держало его здесь, не давало провалиться в ту воронку, где время ускорялось, а он старел на глазах. Там, в глубине, в той самой пустоте, которая жила в нём с рождения, что-то шевелилось. Не боль — предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола. Эйнар знал: граница, которую они сейчас пересекут, будет не просто границей между Доменами. Это будет граница между надеждой и отчаянием. Между жизнью и смертью. Между именем и забвением.

— Ты видишь это? — спросила Ирис, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

Эйнар поднял голову.

Домен Гранитных Клыков открывался с перевала, как открывается старая, незаживающая рана — не постепенно, не торжественно, а внезапно и грубо. Земля здесь была не зелёной и не чёрной — она была серой. Той особенной, тяжёлой серостью, которая бывает у старых, выветрившихся скал, когда время стёрло с них всё, кроме базальтовой, беспощадной сути. Ни травы, ни деревьев, ни даже мха, который цепляется за камни в самых бесплодных местах. Только камень. Только пыль. Только пустота.

Эйнар провёл рукой по лицу — правой, здоровой, не перевязанной. Пальцы были холодными, и под ними кожа казалась чужой. Более тонкой. Более морщинистой. Более старой. Он не видел своего лица, но знал: оно изменилось. Снова. Как тогда, в Зеркальном Склепе, когда отражения умирали тысячами, а он умирал вместе с ними. Но тогда он старел постепенно, день за днём, видение за видением. А сейчас — рывком. Сразу. За один выбор. За одну жертву.

И в центре этой каменной пустыни, на вершине пологого холма, возвышались стены. Не такие, как в заставе «Чёрный Клык», — выше, толще, мрачнее. Сложенные из огромных, грубо обтёсанных блоков чёрного базальта, они казались не творением человеческих рук — порождением самой земли, которая решила защитить себя от тех, кто осмелится приблизиться. Башни по углам — квадратные, зубчатые, с узкими бойницами, из которых торчали наконецники баллист. Ворота — двойные, дубовые, обитые железом, с тяжёлым, подъёмным герсом, который мог опуститься в любой момент, отрезая путь назад.

Эйнар смотрел на эти стены, и в затылке пульсировало — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола. Он знал: за этими стенами его ждёт не просто Маршал. Его ждёт старая, забытая война. Война, которая не имеет отношения к Распаду. Война, которая сжирает людей быстрее, чем любая скверна. Война, которая не знает победителей — только тех, кто умер позже.

— Гранитные Клыки, — сказал Эйнар, и название это прозвучало не как вопрос — как констатация. — Место, которое не кормит. Которое не греет. Которое не помнит.

— Ты был здесь раньше? — спросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на тихое, почти молитвенное любопытство. Её глаза — тёмные, глубокие, с красными прожилками на белках — вглядывались в серую, пустынную даль, пытаясь разглядеть хоть что-то, кроме камня.

— Нет, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Но я слышал о нём. Легенды. Песни. Сказки, которые рассказывают детям на юге, чтобы они не ходили на север. Говорят, здесь люди не едят хлеб — едят камень. Не пьют воду — пьют кровь. Не молятся богам — молятся мечу. Говорят, здесь даже дети рождаются с оружием в руках, а старики умирают на стенах, не доживая до естественной смерти. Говорят, здесь нет ни одного дерева, потому что всё сожгли в осадах. Ни одного колодца, потому что все отравили. Ни одной надежды, потому что она была слишком дорогой роскошью.

— Ты веришь в легенды? — спросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную насмешку. Но в этой насмешке не было презрения — только усталость. Усталость человека, который слышал слишком много страшных историй и слишком часто оказывалось, что они были правдой.

— Я верю в то, что вижу, — ответил Эйнар, и он указал посохом на стены, на башни, на чёрные, маслянистые блоки, которые блестели в свете утреннего солнца, как зеркало, как лёд, как пустота. — А я вижу крепость. Не Домен — крепость. Место, где живут не люди — солдаты. Где не пахнут землёй — точат мечи. Где не рожают детей — готовят похороны. Это не страна, Ирис. Это армия, которая забыла, зачем она нужна. Это люди, которые умеют только убивать. И они не знают, что делать с миром, где нет врага. Поэтому они сами создают врагов. Из соседей. Из союзников. Из себя.

Он замолчал. Ветер донёс запах — селитры, жжёного железа, старой крови. Запах войны, которая не кончалась десятилетиями. Запах смерти, которая стала привычной, как утренний кофе, как вечерняя молитва, как собственное дыхание.

Они пошли вниз, к воротам.

Лис, шедшая в авангарде, подняла руку — сигнал опасности. Её единственный глаз, живой, острый, почти хищный, сверкнул. Она остановилась на полшага, прислушалась, вдыхаясь в серую, пустынную даль. Её ноздри раздувались — она чувала то, что не могли учуять другие. Запах страха. Запах недавней битвы. Запах свежей крови, которая ещё не успела свернуться.

— Слышите? — спросила она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Что? — спросил Альрик, и его голос был сухим, шуршащим, как осенние листья. Он опирался на посох, и его руки — тонкие, бледные, с суставами, которые выпирали, как камни из высохшей земли, — дрожали. Не от холода — от усталости. От той глухой, беспросветной усталости, которая бывает у людей, которые слишком долго несли слишком тяжёлое бремя.

— Тишину, — ответила Лис. — Не ту, которая бывает в горах, когда ветер стихает. Другую. Тишину, которая бывает на поле боя, когда сражение кончилось, но убитые ещё не остыли. Здесь недавно стреляли. Я чувю запах селитры и жжёного железа. Они воюют. Не с Распадом — друг с другом. С соседями. С теми, кто был их союзниками сто лет назад. С теми, кто продал им хлеб в голодный год. С теми, кто отказался отдать дочь за сына. Старая, глупая, бессмысленная война. И она идёт здесь уже тридцать лет. Тридцать лет, Эйнар. Тридцать лет они убивают друг друга, а Распад ждёт. Он терпелив. У него есть время. Вечность.

— Домашняя война, — сказал Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Старая, как мир. Два соседа, которые не могут разделить ручей или пастбище. Два клана, которые помнят обиду трёхсотлетней давности. Два генерала, которые не хотят умирать, но не умеют жить в мире. Они тратят силы на то, чтобы убивать друг друга. А Распад ждёт. Он терпелив. У него есть время. Вечность.

— Тогда, может быть, нам стоит развернуться, — сказала Сигни, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на холодную, расчётливую осторожность. Она сидела на камне, поджав колени к подбородку, и её глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — смотрели на стены с тем особенным выражением, которое бывает у людей, привыкших оценивать шансы на выживание. — Если они не могут договориться между собой, они не помогут нам. Они убьют нас, ограбят, посадят в клетку. Или продадут Распаду за пару мешков зерна. Я видела такое. Не раз. Не два. Люди, которые воюют слишком долго, перестают быть людьми. Они становятся зверями. А звери не слушают — они рвут.

— Нет, — сказал Эйнар, и слово это прозвучало как приговор, как правда, как надежда. — Мы идём. Не потому, что есть выбор. Потому, что выбора нет. Мы уже пробовали юг, восток, запад. Везде — стены. Везде — страх. Везде — смерть. Здесь, может быть, будет иначе. Не потому, что они лучше. Потому, что они сильнее. А сильные иногда слушают тех, кто не боится.

Потому что сильные уважают силу. Даже если эта сила — просто умение стоять и не отводить взгляд.

Он пошёл вперёд. Ирис — за ним. Альрик — за ней. Лис — слева. Сигни — справа. Отряд — колонной, по два человека в ряд, с оружием наготове, но без угрозы. Только страх. Только ожидание. Только пустота. И пыль, которая пела — тихо, далёко, почти не слышно. Пыль, которая помнила то, что забыли люди. Пыль, которая ждала, когда кто-нибудь придёт и услышит.

II

Застава перед воротами была пустой. Не безлюдной — пустой той особенной, тяжёлой пустотой, которая бывает, когда страх вытеснил всё остальное. Ни торговцев, ни путников, ни даже нищих, которые обычно ждут подавания у ворот богатых городов. Только камень, только пыль, только ветер, который гонял по земле сухие, колючие перекасти-поле. Эйнар смотрел на эту пустоту, и ему казалось, что он смотрит в глаза мертвеца — пустые, ничего не выражающие, но всё ещё смотрящие.

Стражники на стенах стояли в полной тишине. Их лица были скрыты шлемами — чёрными, с узкими прорезями для глаз, похожими на морды хищных зверей. В руках — арбалеты, взведённые, с болтами наготове. За их спинами — бочки с кипящей смолой и камни, сложенные в пирамиды для метания. Место, которое ждало осады. Или нападения. Или конца. Эйнар чувствовал их взгляды — тяжёлые, оценивающие, полные страха и ненависти одновременно. Они боялись. И ненавидели. И ждали. Чего — не знали. Приказа? Выстрела? Чуда?

Лис подошла к воротам, подняла руку — жест мира, жест безоружного. Она не взяла с собой ни ножа, ни лука, ни даже верёвки. Только плащ, только сапоги, только единственный глаз, который сверкал, как уголь, как лезвие, как надежда. Она стояла перед воротами, и в её позе было что-то от древних статуй — неподвижность, которая не была слабостью, а была силой. Силой человека, который не боится умереть, потому что уже умер однажды и не нашёл в смерти ничего страшного.

— Я — Лис, разведчик отряда Пустого, — крикнула она, и голос её был ровным, спокойным, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Мы пришли с миром. Мы несём артефакт, который может остановить Распад. Мы хотим говорить с вашим Маршалом. Мы не враги вам. Мы — союзники. Или можем ими стать. Откройте ворота.

Стражники на стенах переглядывались, но никто не отвечал. Только ветер шумел в зубцах, и где-то далеко, за стенами, скрежетала точильная машина — готовили оружие к новой битве. Этот скрежет, монотонный, металлический, въедался в сознание, как червь въедается в яблоко, делая его пустым, трухлявым, бесполезным.

Потом из-за ворот вышел офицер. Не один — с отрядом копейщиков, которые выстроились полукругом, блокируя вход. Офицер был высоким, широкоплечим, с лицом, изрезанным глубокими морщинами, и глазами, которые видели слишком много битв, чтобы бояться ещё одной. Его доспех был чёрным, маслянистым, с серебристыми вставками на плечах. На поясе — короткий меч, простой, без украшений, но явно не раз делавший своё дело. Он остановился в двадцати шагах от Лис, скрестил руки на груди и уставился на неё с тем холодным, оценивающим спокойствием, которое бывает только у людей, привыкших командовать тысячами.

— Капитан Ворн, — представился он, и голос его был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Командующий заставой Восточных ворот. Я говорю от имени Маршала Дрейка, правителя этих земель. Вы — чужаки. Вы пришли с юга, откуда приходит только смерть. Вы несёте артефакт, о котором ходят легенды. Вы говорите о Распаде, которого мы не видели. Назовите свои имена и род. И цель.

— Я — Эйнар, — сказал Эйнар, выходя вперёд. Его голос был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Пустой. Без отражения. Без тени. Без рода. Моя цель — спасти то, что ещё можно спасти. Я пришёл просить аудиенции у Маршала.

Капитан Ворн смотрел на него долго, изучающе. Его взгляд скользил по седым волосам, по бледному, измождённому лицу, по старой, потрескавшейся одежде, по посоху, на который опирался Эйнар. В этом взгляде не было ненависти — было что-то другое. Презрение. Холодное, спокойное, почти вежливое презрение человека, который привык судить о людях по их гербам, по их родам, по их именам. И который не находил у Эйнара ничего, кроме пустоты.

— Нищий оборванец без рода, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на холодную, презрительную усмешку. — Ты пришёл к нам без герба, без знамени, без имени. Ты просишь говорить с Маршалом — с человеком, чей род старше, чем три южных королевства вместе взятые. Ты смешон, Пустой. Или безумен. Или то и другое вместе. Уходи. Пока мы не приказали стрелять.

— Я не уйду, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я буду ждать. День. Два. Три. Сколько потребуется. Пока Маршал не согласится выслушать меня. Потому что если он не выслушает — он умрёт. Не сегодня — завтра. Или не завтра — через месяц. Но умрёт. Распад не остановится. Он не знает милосердия. Он не знает жалости. Он знает только голод. И он сожрёт всё. Каждый Домен. Каждую крепость. Каждую семью. Каждого ребёнка, который ещё не научился говорить. Мы — единственные, кто может это остановить. Не потому, что мы сильные. Потому, что у нас есть Стекло. Даже с трещиной. Даже с дефектом. Даже умирающее, оно даёт нам шанс. Шанс, которого нет у других. Шанс, ради которого мы здесь.

Капитан Ворн молчал. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он смотрел на Эйнара, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Ожидание. Он ждал, когда Эйнар уйдёт. Когда исчезнет. Когда станет пылью. Песней. Пустотой.

— Уходи, — повторил он, и голос его стал тише, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как приговор. — Ты не услышан. Ты не принят. Ты — никто. Уходи, пока я не приказал выстрелить.

Он повернулся и ушёл за ворота. Копейщики — за ним. Стражники на стенах не опустили арбалеты. Бочки со смолой не убрали. Ворота не открылись.

Часть вторая. Нищий оборванец без рода

Эйнар сел на плоский камень в двадцати шагах от ворот. Положил посох поперёк колен. Закрыв глаза. Он не молился — он не умел молиться. Не просил — он не умел просить. Он просто ждал. Как ждал всегда. Как ждал в Терновой Гриве, когда Ирис перевязывала его рану и он не знал, верить ей или нет. Как ждал в Зеркальном Склепе, когда отражения умирали тысячами, а он умирал вместе с ними. Как ждал в зале Хранителя, когда иллюзия счастья оказалась сильнее правды. Как ждал в центре бури, когда Наблюдатель смотрел на него своими вертикальными щелями и выбирал — коснуться или отпустить.

Ирис села рядом, положила голову ему на плечо. Её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Но он чувствовал, как под этой ровностью, под этим спокойствием, бьётся тревога. Её пульс участился. Её плечо напряглось. Она видела то, чего он не мог видеть — отчаяние в глазах своих спутников, страх, который въедался в их души, как червь въедается в яблоко.

Альрик устроился у контейнера со Стеклом, сжимая посох. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он не спал. Не ел. Не говорил. Он только слушал — пульсацию артефакта, которая становилась всё громче, всё настойчивее, всё отчаяннее. Трещина росла. Он знал это. Чувствовал. Но не говорил никому. Не потому, что боялся — потому, что знал: правда не спасёт. Правда только убьёт надежду. А без надежды они не выживут.

Лис поднялась на ближайший холм, чтобы следить за передвижениями стражи. Её единственный глаз сверкал в свете утреннего солнца, как уголь, как лезвие, как надежда. Она считала. Патрули, смены караулов, количество факелов на стенах, направление ветра. Всё это было её работой. Её жизнью. Её смертью.

Сигни осталась с отрядом, сжимая нож и смотря на стены с тем холодным, оценивающим презрением, которое бывает только у людей, которые привыкли выживать, а не верить. Она не верила в успех. Не верила в Эйнара. Не верила в надежду. Она верила только в свою руку, свой нож и свою способность исчезнуть, когда всё пойдёт не так.

День тянулся медленно, тяжело, как воз, увязший в грязи. Солнце поднялось над горами, бледное, холодное, почти зимнее, и его лучи скользили по камням, по песку, по лицам людей, которые смотрели вперёд и не оглядывались. Стражники на стенах сменялись каждые два часа — монотонно, механически, без единого слова. Только шаги, звяканье оружия, редкий кашель. И тишина. Та самая, которая была плотнее любой ночи, тяжелее любого камня.

— Сколько мы будем ждать? — спросила Ирис, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Столько, сколько потребуется, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — День. Два. Три. Неделю. Месяц. У нас нет другого Домена, который согласился бы нас принять. Нет другого Маршала, который согласился бы нас слушать. Нет другой надежды.

— А если они не откроют ворота? — спросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую обиду. — Если мы

будем сидеть здесь, пока Стекло не рассыплется? Пока Альрик не умрёт? Пока мы не превратимся в камни?

— Тогда мы умрём, — сказал Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Но мы умрём, попытаюсь. Это лучше, чем умереть в болотах, грызя коренья и молясь богам, которых никто не видел уже триста лет. Это лучше, чем умереть от руки предателя. Это лучше, чем умереть, не оставив после себя ничего. Мы оставим память. О попытке. О надежде. О том, что не сдались. Это больше, чем я могу обещать себе. Это больше, чем я могу обещать тебе.

Она не ответила. Только сжала его руку — холодную, дрожащую, почти мёртвую — и не отпускала. Пальцы её — тонкие, бледные, с обломанными ногтями, с тёмными пятнами на коже — переплелись с его пальцами, и в этом переплетении, в этой тесноте, в этой боли, было что-то, от чего Эйнару стало тепло. Не телом — тем местом, где раньше было сердце. Где теперь была пустота. Но даже пустота может чувствовать тепло. Если это тепло — чужое. Если это тепло — память. Если это тепло — любовь.

IV

На закате, когда тени стали длинными, а небо — багровым, как старая, запёкшаяся кровь, Ирис поднялась.

Она не знала, когда приняла решение. Просто в какой-то момент поняла, что не может больше ждать. Не может сидеть на камне и смотреть, как её спутники умирают от голода, от холода, от отчаяния. Что у неё есть что-то, чего нет у других. Что-то, что может открыть двери, которые не открываются силой. Что-то, о чём она почти забыла, потому что слишком долго носила это как память, а не как оружие.

Она вспомнила Терновую Гриву. Тот день, когда Агата позвала её в свою комнату — маленькую, тесную, заваленную свитками и сушёными травами. Старуха сидела в кресле, её пальцы — тонкие, бледные, с обломанными ногтями — перебирали чётки, и её глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — смотрели на Ирис с той странной, почти пугающей пронизательностью, которая бывает только у людей, которые видят не то, что есть, а то, что будет.

«Ты пойдёшь на север, Ирис, — сказала Агата, и голос её был сухим, шуршащим, как осенние листья. — Ты найдёшь Пустого. Ты поведёшь его к Мельнице. Ты не дашь ему сбиться с пути. Возьми это».

Она протянула Ирис печать — тяжёлую, бронзовую, с изображением раскрытой книги и меча. Печать была холодной, почти ледяной, и от неё исходила слабая, едва заметная вибрация — как будто сама бронза пульсировала в такт чему-то, что происходило внутри.

«Это — ключ, — сказала Агата. — Ключ, который откроет двери, где слова бессильны. Не потеряй его. Не отдавай. Не используй, пока не придёт время. Время придёт. Оно всегда приходит. Оно не умеет ждать».

Время пришло.

Ирис встала, отряхнула плащ от песка. Её тело болело — плечо, рука, поясница, каждый сустав, каждая мышца, каждая кость. Она чувствовала эту боль, и она была сладкой, как вода в пустыне, как надежда в отчаянии, как правда среди лжи. Потому что боль означала, что она жива. Что она ещё может идти. Что она ещё может бороться.

Она подошла к воротам. Одна. Без оружия. Без страха. Без надежды. Только печать в руке, только пустота в груди, только имя, которое она носила, как бремя. Каждый шаг давался с трудом — ноги дрожали, колени подкашивались, затекшие мышцы горели огнём. Но она шла. Не останавливалась. Не оглядывалась. Не боялась.

— Капитан Ворн! — крикнула она, и голос её был ровным, спокойным, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Я — Ирис, целительница Ордена. Я имею право говорить от имени Ордена. Я имею право требовать аудиенции у Маршала. У меня есть печать. Откройте ворота.

Стражники на стенах замерли. Переглянулись. Кто-то побежал внутрь — передавать сообщение. Тишина стала плотной, как смола, как та настойка немоты, которую влила в неё Хельга у ворот Терновой Гривы много лет назад. Ирис ждала. Считала удары сердца — раз, два, три, четыре, пять. Её рука, сжимавшая печать, дрожала. Не от холода — от того, что она делала. От того, что она могла проиграть. От того, что она могла умереть.

Потом ворота открылись. Не широко — настолько, чтобы пропустить одного человека. Из них вышел капитан Ворн. Его лицо было бледным, почти белым, и в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — был страх. Не перед Ирис — перед тем, что она держала в руке. Перед печатью, которая была выше его ранга, выше его власти, выше его понижения.

— Покажи, — сказал он, и голос его был хриплым, чужим, но он был. Он мог говорить. Это было главным.

Ирис подняла руку. Печать блеснула в свете умирающего солнца — бронзовая, тяжёлая, с изображением раскрытой книги и меча. Капитан Ворн смотрел на неё долго, изучающе. Его глаза расширились — не от страха, от узнавания. Он видел эту печать раньше. Много лет назад. В другой жизни. В другом мире.

— Печать Ордена, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на благоговение. — Я не видел её десять лет. С тех пор, как последний посланник Ордена ушёл на юг и не вернулся. Где ты взяла её, целительница? Кто дал тебе право носить её?

— Агата, Старейшина Ордена, — ответила Ирис, и голос её был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Она дала мне её, когда отправила на поиски Пустого. Когда сказала: «Иди, Ирис. Найди того, у кого нет отражения. Веди его к Мельнице. Не дай ему сбиться с пути. Не дай ему умереть до того, как он дойдёт». Я сделала, что она сказала. Я found его. Я привела его. Я здесь. Теперь открой ворота. Или я открою их сама.

Капитан Ворн поднялся. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он смотрел на Ирис, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего она не видела раньше. Не

страх, не надежду, не усталость. Решение. Он принял его. Не смирился — принял. Как принимают неизбежное, когда понимают, что бороться бесполезно, но и сдаваться — нельзя.

— Хорошо, целительница, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Я открою ворота. Я выпущу вас. Но с условием: Пустой, ты и старик войдёте первыми. Оружие оставите страже. Стекло понесёте с собой, но никто, кроме вас, не прикаснётся к нему. Остальные останутся здесь, под охраной. Если Маршал решит, что вы достойны разговора — вы войдёте. Если нет — вы уйдёте. Или не уйдёте — умрёте. Какая разница?

— Никакой, — согласился Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Мы согласны. Открывай ворота.

Часть третья. Город, который не живёт

V

Внутренний двор заставы оказался больше, чем казался снаружи. Вымощенный чёрным, маслянистым камнем, он блестел в свете факелов, как зеркало, как лёд, как пустота. Вокруг — казармы, склады, конюшни, кузницы. Ни одного дерева, ни одного куста, ни даже мха, который цепляется за камни в самых бесплодных местах. Только камень. Только железо. Только война.

Эйнар шёл медленно, опираясь на посох, и чувствовал, как на него смотрят. Десятки глаз — из окон, из-за углов, из щелей в стенах. Глаза солдат, которые видели слишком много смертей, чтобы удивляться чужакам. Глаза женщин, которые потеряли мужей, сыновей, отцов, и теперь смотрели на мир с той пугающей пустотой, когда человек перестал бояться, потому что страха больше не осталось. Глаза детей, которые никогда не видели ничего, кроме войны, и не знали, что такое мир.

Солдаты стояли вдоль стен, сжимая оружие, и их лица — молодые, старые, усталые, испуганные — смотрели на Эйнара с тем холодным, оценивающим любопытством, которое бывает только у людей, которые видели слишком много чужаков и слишком много смертей. Они не доверяли. Они боялись. И они ждали. Чего — не знали. Приказа? Выстрела? Чуда?

Капитан Ворн провёл их через двор к центральной башне — высокой, чёрной, с узкими окнами-бойницами, из которых торчали наконечники арбалетов. Внутри было темно, сыро, пахло старым деревом, маслом и ещё чем-то, от чего у Ирис сжалось горло. Смертью. Старой, терпеливой, голодной смертью, которая ждала в каждой тени, в каждой трещине, в каждом вздохе.

— Подождите здесь, — сказал капитан Ворн, указывая на каменную скамью у стены. — Я доложу Маршалу. Если он захочет вас видеть — он позовёт. Если нет — вы уйдёте. Или не уйдёте — умрёте. Какая разница?

— Никакой, — сказал Эйнар, и он сел на скамью, положив посох поперёк колен. Ирис села рядом. Альрик остался стоять, сжимая контейнер со Стеклом, и его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду.

Время тянулось медленно, тяжело, как патока. Ирис считала удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять. Потом — десять, двадцать, пятьдесят. Она сбилась со счёта на втором десятке, перестала считать, просто ждала. Ждала, когда дверь откроется. Когда их позовут. Когда всё решится.

Эйнар закрыл глаза. Провалился в пустоту. Не глубоко — так, чтобы коснуться поверхности, не падая на дно. Он искал нити — те самые, которые видел у призмы, когда сдвигал балку, когда платил годами, когда старел на глазах. Те, которые показывают вероятности. Те, которые могут указать путь. Но видение было размытым. Как треснутая линза. Как память, которая умирает. Как отражение в мутной воде. Он видел не будущее — он видел трещины. Не нити — разрывы. Не пути — пропасти. И в этих пропастях, в этой чёрной, маслянистой глубине, он снова увидел тени. Огромные, расплывающиеся, движущиеся. Они не были похожи на Сторожевых Псов. Не были похожи на Хранителя. Они были больше. Намного. Они двигались медленно, тяжело, как двигаются горы, когда время берёт своё. Как двигаются материки, когда никто не смотрит. Как двигаются боги, когда они ещё не проснулись, но уже начинают ворочаться во сне.

Дверь открылась через час.

Из неё вышел слуга — старый, сгорбленный, в чёрной, поношенной ливрее, с лицом, которое видело слишком много, чтобы удивляться, и слишком мало, чтобы надеяться. Он поклонился — не низко, почтительно, но без подобострастия.

— Маршал Дрейк согласен принять вас, — сказал он, и голос его был сухим, шуршащим, как осенние листья. — Но только Пустого. Женщина и старик останутся здесь. Стекло останется здесь. Оружие останется здесь. Вы войдёте один.

— Это не обсуждается, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Ирис идёт со мной. Альрик остаётся со Стеклом. Если Маршал боится двух безоружных людей — он не Маршал, а трус. А с трусами я не говорю.

Слуга смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, Пустой, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Идите оба. Но помните: одно резкое движение — и вы умрёте. Не я — стража. Не стражники — арбалеты. Не арбалеты — стены. Это место не прощает ошибок.

Он повернулся и пошёл вверх по лестнице. Эйнар и Ирис — за ним.

VI

Лестница была узкой, крутой, вырубленной прямо в толще стены. Ступени стёрлись от тысяч ног, которые поднимались и спускались по ним много лет, много десятилетий, много веков. Воздух был спёртым, тяжёлым, пахло камнем, маслом и ещё чем-то — сладковатым, приторным, почти тошнотворным. Запахом лекарств. Запахом старости. Запахом смерти, которая задержалась, но не ушла.

Эйнар поднимался медленно, опираясь на посох. Каждая ступень давалась с трудом — ноги дрожали, колени подкашивались, затекшие мышцы горели огнём. Но он шёл. Не останавливался. Не оглядывался. Не боялся. Ирис шла рядом, её плечо касалось его плеча, и в этом прикосновении, в этом молчании, в этом ожидании было что-то, от чего Эйнару становилось тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память.

Они поднялись на третий этаж, прошли по длинному, тёмному коридору, мимо запертых дверей, мимо стражников, которые стояли неподвижно, как статуи, как изваяния, как память. Слуга остановился перед последней дверью — тяжёлой, дубовой, обитой чёрным железом. Постучал. Три раза. Коротко. Резко. Как отдают честь.

— Войдите, — раздался голос из-за двери. Старый, хриплый, с металлическими нотками, как у человека, который слишком много кричал на полях сражений. Голос, который привык подчинять. Голос, который не знал поражений. Голос, который боялся только одного — времени.

Слуга открыл дверь, посторонился. Эйнар шагнул вперёд. Ирис — за ним.

Комната была большой, но почти пустой. Каменные стены, каменный пол, каменный потолок. В углу — железная кровать с балдахином, на которой лежал человек. Старый, высохший, почти прозрачный, с лицом, покрытым сеткой глубоких морщин, и глазами — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками, которые смотрели на Эйнара с тем холодным, оценивающим спокойствием, которое бывает только у людей, которые видели всё и не боятся ничего.

Маршал Дрейк не встал, не протянул руки, не пригласил сесть. Он просто лежал, опираясь на подушки, и смотрел. В его взгляде было что-то, от чего даже Ирис, которая не боялась никого, почувствовала холод в спине. Не угроза — оценивание. Он оценивал их. Как оценивают врага перед битвой. Как оценивают союзника перед сделкой. Как оценивают мясо на рынке.

— Ты — Пустой, — сказал он, и голос его был низким, хриплым, как у человека, который слишком много кричал на полях сражений. — Тот, у кого нет отражения. Тот, кто нёс смерть в каждый Домен, где появлялся. Тот, кто спустился в бездну и вернулся оттуда с меткой на плече. Тот, кто пришёл просить у меня помощи. Ты не похож на героя. Ты похож на труп. Почему я должен верить трупу?

— Потому что я — не труп, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я — человек, который видел Распад изнутри. Который знает, как он дышит, как он двигается, как он думает. Который знает, как его остановить. У меня есть Стекло. У меня есть план. У меня есть люди, которые верят мне. Я пришёл не просить — я пришёл предлагать. Либо вы объединяетесь с нами, либо вы умираете. Выбирайте, Маршал. Время не ждёт.

Маршал Дрейк смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно приподнялся на локтях, и Эйнар увидел, что его тело было не просто старым — оно было сломанным. Левая нога отсутствовала ниже колена, правая рука висела плетью, на груди — глубокий, багровый рубец, который не зажил до конца. Он выглядел как человек, который должен был умереть много лет назад, но отказался. И теперь доживал, дожидался, доживал.

— Ты смел, Пустой, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на холодную, оценивающую усмешку. — Я не встречал таких смелых. Или таких глупых. Время покажет. Ты говоришь о Распаде, которого я не видел. Ты говоришь о Стекле, которое я не трогал. Ты говоришь о плане, который я не слышал. Зачем ты пришёл, Пустой? Чего ты хочешь от меня?

— Я хочу, чтобы вы открыли ворота, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я хочу, чтобы вы дали мне армию. Я хочу, чтобы вы объединили Домены. Я хочу, чтобы мы остановили Распад. Вместе. Или не вместе — но попытались.

Маршал Дрейк молчал. Долго. Так долго, что Эйнар начал считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять. Потом он медленно откинулся на подушку, закрыл глаза.

— Уходите, — сказал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как приговор. — Я подумаю. Приходите завтра. И без печати. Я хочу видеть вас, а не ваши знаки отличия. Я хочу слышать вас, а не голос ваших предков. Я хочу понять, кто вы, а не кем вас сделали. Приходите завтра. Утром. Один. И без оружия. Мы поговорим.

Эйнар смотрел на него долго, изучающе. В его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — было что-то, чего Маршал не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Принятие. Он принял этот разговор. Не как победу — как шаг. Не как результат — как начало.

— Хорошо, Маршал, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную уверенность. — Я приду завтра. Один. Без оружия. Без печати. Без Стекла. Только я и вы. И мы поговорим. О жизни. О смерти. О том, что остаётся, когда всё остальное исчезает.

Он повернулся и пошёл к выходу. Ирис — за ним. Слуга закрыл дверь. Стражники застыли на постах. Тишина стала плотной, как смола, как та настойка немоты, которую влила в него Хельга у ворот Терновой Гривы много лет назад.

Часть четвёртая. Ночь перед разговором

VII

Они вернулись в лагерь, когда луна поднялась над горами, бледная, холодная, почти мёртвая. Люди спали — кто в палатках, кто прямо на земле, подстелив под себя плащи и сёдла. Кто-то похрапывал, кто-то стонал во сне, кто-то просто лежал с открытыми глазами, глядя в чёрное, звёздное небо, и ждал рассвета.

Эйнар сел у костра, который разожгли в центре лагеря. Ирис села рядом, положила голову ему на плечо. Альрик сидел у контейнера со Стеклом, сжимая посох. Лис стояла на страже, её единственный глаз сверкал в темноте. Сигни спала — или притворялась, что спит.

— Ты пойдёшь завтра? — спросила Ирис, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Да, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

— Он опасен, — сказала Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую обиду. — Он не верит нам. Он ищет выгоду. Он использует нас. И когда мы станем не нужны — он избавится от нас. Как от мусора. Как от пыли. Как от пепла.

— Знаю, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

— Тогда зачем ты идёшь? — спросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую обиду.

— Потому что это единственный шанс, — сказал Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Не для нас — для них. Для тех, кто не может сражаться. Для тех, кто не может бежать. Для тех, кто не может надеяться. Я иду, потому что если не я — никто. Потому что если не сейчас — никогда. Потому что я — Пустой. А Пустые не сдаются.

Он замолчал. Ирис молчала. Только ветер шумел в скалах, и где-то далеко, на стенах заставы, перекликались часовые. И пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно. Пыль пела о том, кто нёс Стекло. О том, кто не сдался. О том, кто помнил. Даже когда память хотела умереть. Даже когда пустота звала. Даже когда надежда была так близко — рукой подать.

Эйнар смотрел на звёзды, и в одной из них, в самой яркой, в самой холодной, ему показалось, что он увидел отражение. Не своё — чужое. Тень. Длинную, тонкую, с неестественными пропорциями. Она стояла за его спиной, и её рука лежала на его плече. Не давила — держала. Как хозяин держит своё.

«Завтра будет новый день, — подумал он. — Новая битва. Новая ложь. Новая надежда. А сегодня — сегодня я отдохну. Впервые за много дней. Впервые за много недель. Впервые за много жизней. Я отдохну, чтобы завтра идти дальше. Потому что если не отдохнуть — не хватит сил. А если не хватит сил — не дойти до конца. А если не дойти до конца — не зачем было начинать».

Он закрыл глаза. Увидел темноту — не ту, абсолютную, всепоглощающую, которая ждала его в конце, а ту, внутреннюю, которая была его личной, никем не тронутой пустотой. Она не пульсировала — она дышала. В такт его дыханию. В такт его сердцу. В такт той песне, которую пела пыль.

«Я не знаю, что будет завтра, — подумал он. — Но я знаю, что я буду там. Я буду дышать. Я буду сражаться. Я буду помнить. Потому что если не я — никто. Потому что если не сейчас — никогда. Потому что я — Пустой. А Пустые не сдаются».

Он уснул под утро — тяжело, беспокойно, с открытыми глазами, которые смотрели в пустоту и не видели ничего. Только тень. Только руку на плече. Только песню пыли. И тишину. Которая ждала. Которая всегда ждала. У которой было время. Вечность.

Но он знал: Пустой не остановится. Пустой будет идти. Пустой будет идти, пока не дойдёт до конца. Или не упадёт. Или не исчезнет. Или не станет пылью. Или не станет ею. Или не станет собой. Или не станет никем.

Какая разница?

Он шёл. Он сделал. Он не сдался.

Этого достаточно.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 81

ГЛАВА 82. ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ МАРШАЛА

Часть первая. Зверь в железной клетке

I

Эйнар стоял перед дверью в зал Совета и чувствовал запах смерти.

Она сочилась из-под тяжёлых, дубовых створок, смешиваясь с ароматами ладана, которым слуги тщетно пытались перебить гнилостное амбре, въевшееся в камень, в дерево, в самую память этого места. Запах был сладковатым, приторным, почти тошнотворным — запах гангрены, которую не могли остановить ни маги, ни лекари, ни молитвы. Эйнар знал этот запах. Он нюхал его в лагере Гарма, когда раненые умирали в палатках, и никто не успевал убрать тела до того, как они начинали разлагаться. Нюхал в Зеркальном Склепе, когда отражения умирали тысячами, и смерть их была не физической — метафизической, но пахла так же. Нюхал в зале Хранителя, когда иллюзия счастья разбилась о правду, и правда пахла именно так — сладковатой, приторной, тошнотворной гнилью человека, который уже не жив, но ещё не умер.

Стражники, стоявшие по обе стороны двери, смотрели на него с тем холодным, оценивающим презрением, которое бывает только у людей, привыкших судить о чужаках по их одежде, по их оружию, по их роду. А у Эйнара не было ничего. Старый, потрескавшийся плащ, который Ирис зашивала уже трижды. Посох из чёрного, маслянистого дерева — память о лагере Гарма, где он получил его из рук умирающего воина, который прошептал: «Возьми, Пустой. Ты дойдёшь дальше, чем я». Сапоги, подвязанные верёвками, потому что подошвы прохудились ещё на подступах к заставе. И седые, почти белые волосы, которые Ирис каждое утро замазывала золой, но зола осыпалась уже к полудню, и все видели правду.

Капитан Ворн вышел из-за двери, и его лицо — грубое, оветренное, с глубоким шрамом через левую щёку — было бледным, почти белым. Он смотрел на Эйнара, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Было презрение. Холодное, спокойное, почти вежливое презрение человека, который привык командовать тысячами и не привык подчиняться нищим оборванцам без рода и имени.

— Маршал согласился говорить с тобой, — сказал Ворн, и голос его был низким, роко-чущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Но если ты солгал о печати Ордена — если эта женщина, назвавшаяся целительницей, украла её или получила обманом — твоя голова будет на стене через час. Я сам отрублю её. Не палач. Не стражник. Я. Потому что я не люблю, когда мне лгут, Пустой. А ты выглядишь как тот, кто врёт каждое второе слово.

— Я не лгу, капитан, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я не умею лгать. Ложь требует сил, которых у меня нет. Я говорю только правду. Или молчу. Выбирайте, что вам неприятнее.

Ворн смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Иди, — сказал он, и посторонился, открывая дверь.

II

Зал Совета оказался больше, чем казался снаружи. Огромное, пустое помещение, вырубленное прямо в толще скалы. Стены — чёрный, маслянистый камень, блестящий в свете масляных ламп, как зеркало, как лёд, как пустота. Пол — каменные плиты, стёртые до блеска тысячами ног, которые ходили по ним много лет, много десятилетий, много веков. Потолок терялся в темноте, и Эйнару казалось, что он смотрит в бездонный колодец, у которого нет дна.

В центре зала, на возвышении из трёх ступеней, стоял трон.

Он был сделан из чёрного железа — кованого, грубого, без единого украшения. Ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней. Только железо. Только сила. Только память о битвах, которые выиграл и проиграл тот, кто сидел на этом троне. Подлокотники были стёрты до блеска — ладони, которые сжимали их в минуты гнева, в минуты боли, в минуты отчаяния, оставили свой след. Спинка трона была высокой, прямой, и на ней, выбитое в металле, виделось изображение — волк, раздирающий пасть дракона. Герб Домена Гранитных Клыков. Символ войны, которая длилась так долго, что никто уже не помнил, с чего она началась.

Маршал Дрейк сидел на троне, и он не выглядел великим воином.

Он выглядел как труп, который забыл умереть.

Лицо его было серым, почти пепельным, с сеткой глубоких морщин, которые прорезали кожу, как трещины прорезают старый, высохший лёд. Глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — смотрели на Эйнара с той холодной, оценивающей пустотой, которая бывает только у людей, которые видели слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить. Левая рука лежала на подлокотнике неподвижно — пальцы были скрючены, ногти пожелтели, кожа висела мешками. Правая рука сжимала подлокотник с такой силой, что костяшки побелели, побелели, стали почти прозрачными.

Ноги его были скрыты тяжёлым, шерстяным пледом — тёмно-зелёным, с вышитым гербом Домена. Но Эйнар чувствовал запах. Тот самый. Сладковатый, приторный, почти тошнотворный. Гангрена. Она шла от ног, от левой ноги, которая, по слухам, была ампутирована три-

жды, но каждый раз гниль возвращалась, поднималась выше, к колену, к бедру, к тазу. Лекари говорили, что если отрезать снова — Дрейк умрёт на столе от потери крови. Маги говорили, что если прижечь скверну огнём — он умрёт от боли. Никто не говорил правду. А правда была проста: Маршал Дрейк умирал. Медленно. Болезненно. Неумолимо. И он знал это.

— Ты — Пустой, — сказал Дрейк, и голос его был низким, хриплым, как у человека, который слишком много кричал на полях сражений, который глотал пыль и кровь, который не умел говорить тихо, потому что всю жизнь его слушали только тогда, когда он кричал. — Тот, у кого нет отражения. Тот, кто нёс смерть в каждый Домен, где появлялся. Тот, кто спустился в бездну и вернулся оттуда с меткой на плече. Тот, кто пришёл просить у меня помощи. Ты не похож на героя. Ты похож на труп. Почему я должен верить трупу?

Он не пригласил сесть. Не предложил говорить. Не поздоровался. Просто смотрел, и в его взгляде было что-то, от чего Эйнар вдруг вспомнил Наблюдателя — те же пустые, светлые глаза, тот же холод, то же ожидание. Дрейк был человеком, но в нём было что-то нечеловеческое. Что-то, что смотрело на мир сквозь призму ненависти, которая длилась дольше, чем жизнь большинства людей в этом зале.

— Потому что я — не труп, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я — человек, который видел Распад изнутри. Который знает, как он дышит, как он двигается, как он думает. Который знает, как его остановить. У меня есть Стекло. У меня есть план. У меня есть люди, которые верят мне. Я пришёл не просить — я пришёл предлагать. Либо вы объединяетесь с нами, либо вы умираете. Выбирайте, Маршал. Время не ждёт.

— Время всегда ждёт, — усмехнулся Дрейк, и усмешка его была страшнее любого крика — кривой, асимметричный оскал, который обнажил жёлтые, сточенные зубы. — Время — единственное, что у меня есть, Пустой. Я сижу на этом троне сорок лет. Сорок лет я смотрю на карты, слушаю донесения, подписываю приказы. Сорок лет я воюю с соседями, которые хотят отгрызть кусок моей земли. Сорок лет я жду. Жду, когда они устанут. Жду, когда умрут. Жду, когда я умру. Время — мой союзник, Пустой. Или мой враг. Я ещё не решил.

— Ваше время кончилось, — сказал Эйнар, и голос его стал тише, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Не потому, что Распад идёт. Не потому, что я пришёл. Потому, что ваша нога сгнила. Лекари отрезали её трижды, но гангрена поднялась выше колена. Вы не встаёте с трона не потому, что не хотите — потому, что не можете. Вы умрёте, Маршал. Через месяц. Через два. Какая разница? Вы умрёте здесь, в этой каменной клетке, не сделав того, ради чего жили сорок лет.

III

Тишина стала плотной, как смола, как та настойка немоты, которую влила в него Хельга у ворот Терновой Гривы много лет назад.

Дрейк смотрел на Эйнара, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Был гнев. Холодный, тяжёлый, почти невыносимый гнев человека, которому сказали правду, которую он знал, но которую никто никогда не произносил вслух. Его правая рука, сжимавшая подлокотник, дрожала. Пальцы впились в железо так, что костяшки побелели, побелели, стали почти прозрачными.

— Ты смеешь, — прошипел он, и голос его стал выше, острее, почти истеричным. — Ты, нищий оборванец без рода, без имени, без тени, смеешь говорить мне о моей смерти? Ты, который не командовал и взводом, не водил и роту в бой, не держал в руках ничего тяжелее посоха, смеешь судить меня? Я — Маршал Дрейк, Пустой. Мой род старше, чем три южных королевства вместе взятые. Мои предки строили эти стены, когда твои предки ещё в пещерах прятались. Я выиграл семнадцать сражений. Я потерял два. Я видел, как умирают мои сыновья — оба, в один год, в одной битве. Я видел, как моя жена сошла с ума от горя и бросилась со стены. Я видел всё, Пустой. А ты видел только свою пустоту. И ты смеешь говорить мне о смерти?

— Я видел не свою пустоту, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я видел вашу. Она здесь, в этом зале. Она в запахе вашей гниющей ноги. В ваших глазах, которые смотрят на карты, но не видят ничего, кроме упущенных возможностей. В ваших руках, которые сжимают подлокотник, потому что не могут сжать меч. Вы боитесь не смерти, Маршал. Вы боитесь, что умрёте, не успев. Не успев отомстить тем, кто убил ваших сыновей. Не успев увидеть пепел на их стенах. Не успев сказать им: «Я победил». Вы боитесь, что ваша война закончится не вашей победой — вашей смертью. А смерть — это не победа. Смерть — это конец.

Дрейк молчал. Долго. Так долго, что Эйнар начал считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять. Потом медленно откинулся на спинку трона, закрыл глаза. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду.

— Чего ты хочешь, Пустой? — спросил он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как вопрос, на который он боялся услышать ответ. — Зачем ты пришёл? Не говори о Распаде. Не говори о спасении мира. Говори о себе. Чего ты хочешь?

— Я хочу вашу армию, — сказал Эйнар, и слова эти прозвучали странно, чужеродно в этом месте, где говорили о войне, о смерти, о мести, но никогда — о торговле. — Две тысячи копейщиков. Пять сотен конных лучников. Проводников через перевалы. Капитана Ворна в распоряжение. И право беспрепятственного прохода через ваши земли.

— Армию? — переспросил Дрейк, и в его голосе появились новые нотки — не гнев, не ярость, а что-то другое, похожее на холодную, презрительную усмешку. — Ты хочешь мою армию, Пустой? Армию, которую я собирал сорок лет? Армию, которая стоит мне половины казны и всех моих бессонных ночей? Армию, которая — единственное, что осталось у меня после смерти сыновей? Ты хочешь забрать у меня единственное, что у меня есть?

— Я хочу не забрать — одолжить, — ответил Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Я верну их. Или не верну — но они умрут не зря. Они умрут, сражаясь с Распадом. А не в вашей домашней войне, которая длится уже сорок лет и не принесла ни одной победы, достойной этого имени.

— Ты смеешь судить мою войну? — Дрейк приподнялся на локтях, и в его глазах загорелся огонь — не тот, который согревает, другой, который сжигает. — Ты, который не знаешь, что такое потерять сына? Ты, который не хоронил жену? Ты, который не видел, как твои земли

жгут, а людей уводят в рабство? Ты смеешь говорить, что моя война — домашняя? Это война за выживание, Пустой. За право дышать. За право называться людьми. И я выиграю её. Или умру, пытаюсь.

— Вы умрёте, пытаюсь, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Это я и предлагаю. Сделать так, чтобы вы умерли, пытаюсь. Не в этой клетке — на стенах ваших врагов. С оружием в руках. С именем на устах. С мстью, которая наконец свершится.

Часть вторая. Испытание

IV

Дрейк смотрел на Эйнара долго, изучающе. Его глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — скользили по седым волосам, по бледному, измождённому лицу, по старой, потрескавшейся одежде, по посоху, на который опирался Эйнар. В этом взгляде не было ненависти — было что-то другое. Жадность. Не к власти — к надежде. К надежде, которую он похоронил вместе с сыновьями, вместе с женой, вместе со своей молодостью.

— Ты говоришь о мести, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную осторожность. — Ты говоришь о том, чтобы я умер на стенах врага. Но ты не сказал главного. Как я узнаю, что успею? Как я узнаю, что не умру завтра, не сделав ни шага к своей цели? Как я узнаю, что ты не врешь?

— Я — Пустой, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я вижу смерти в отражениях. Я могу назвать час вашей смерти. Вы узнаете, сколько у вас осталось ночей. И вы успеете. Я сделаю так, чтобы вы успели. Это моя часть сделки. Я называю дату. Вы даёте армию.

Дрейк молчал. Его пальцы — скрюченные, с пожелтевшими ногтями — барабанили по подлокотнику. Тишина стала плотной, как смола, как та настойка немоты, которую влила в него Хельга у ворот Терновой Гривы. Эйнар ждал. Не торопил. Не дышал.

— Докажи, — сказал наконец Дрейк, и в его голосе появились новые нотки — не гнев, не ярость, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую решимость. — Не словами — делом. У меня есть человек. Пленник из Ущелья. Он умирает. Лекари говорят, что он не доживёт до утра. Назови час его смерти. Если ошибёшься — ты умрёшь. Я лично перережу тебе горло. Если назовёшь верно — я подумаю над твоим предложением.

— Приведите его, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

V

Пленника ввели через четверть часа.

Это был молодой мужчина, лет двадцати пяти, с чёрными, слипшимися от крови волосами и лицом, покрытым синяками и ссадинами. Его живот был вспорот — лекари зашили рану наспех, грубыми стежками, но даже сквозь повязку сочилась сукровица, смешанная с гноем. Запах был таким же, как от ноги Дрейка — сладковатым, приторным, почти тошнотворным. Гангрена. Она уже началась. И остановить её было нельзя.

Пленник не стоял — его держали двое стражников, поддерживая под руки. Его глаза — тёмные, глубокие, с красными прожилками на белках — смотрели на Эйнара с той пугающей пустотой, когда человек перестал бояться, потому что страха больше не осталось. Он не просил пощады. Не молил о смерти. Просто ждал. Ждал, когда всё кончится.

— Смотри, Пустой, — сказал Дрейк, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на холодную, оценивающую усмешку. — Смотри и называй час. Если ошибёшься — ты мой.

Эйнар подошёл к пленнику. Остановился в шаге. Посмотрел в его глаза — тёмные, глубокие, почти чёрные. В них не было надежды. Не было страха. Была только усталость. Та самая, которую Эйнар видел в своих глазах каждое утро, когда смотрел в мутное зеркало у костра. Усталость человека, который прошёл слишком далеко, чтобы повернуть назад, и слишком много потерял, чтобы сожалеть.

— Как тебя зовут? — спросил Эйнар, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как вопрос, на который он не знал ответа.

— Кай, — ответил пленник, и голос его был хриплым, чужим, но он был. Он мог говорить. Это было главным. — Сын Торвальда из Ущелья. Разведчик. Меня поймали три дня назад. Я не скажу вам ничего. Даже под пытками. Так что не пытайся, старик.

— Я не пытаю, — сказал Эйнар, и он протянул руку — правую, здоровую, не перевязанную — и коснулся лба Кая. Пальцы были холодными, почти ледяными, и кожа под ними была горячей — лихорадка уже началась, тело боролось с заражением, но борьба была проиграна заранее.

Он закрыл глаза. Провалился в пустоту.

Часть третья. Прикосновение к смерти

VI

Пустота была здесь, всегда здесь, ждала его, как ждала Наблюдателя, как ждала конца. Она не пульсировала — она дышала. В такт его дыханию. В такт его сердцу. В такт той песне, которую пела пыль.

Эйнар не уходил глубоко — только коснулся поверхности, только заглянул за край, только позволил пустоте внутри себя отозваться на пустоту снаружи. Он искал нить — ту самую, тонкую, серебристую, пульсирующую, которая вела от этого человека к его смерти. Не к будущему — к неизбежности. Не к выбору — к концу.

Нить была чёрной. Не серебристой, как у живых. Чёрной, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота, которая ждала его в конце. Она пульсировала слабо, едва заметно, как пульсирует умирающий уголь, когда ветер стихает, и пламя не знает, гореть дальше или уступить тьме.

Эйнар коснулся нити — не пальцами, той частью себя, которая была пустотой. Она отзывалась болью. Не физической — метафизической. Болью человека, который умирал. Болью его матери, которая не знала, что сын уже не вернётся. Болью его отца, который проклинал войну, но не мог остановиться.

Видение пришло не сразу. Сначала — образы. Размытые, рваные, похожие на сны, которые забываешь, когда просыпаешься. Лицо женщины — старой, с морщинами, глубокими, как трещины в камне, и глазами, которые плакали так долго, что слёзы кончились. Дом — маленький, деревянный, с покосившейся крышей, у края ущелья. Ребёнок — девочка, лет пяти, с чёрными, как смоль, волосами и серьёзными, взрослыми глазами.

Потом — холод. Стена. Каменная, чёрная, маслянистая. Он стоял перед ней, и его руки были пусты — не было оружия, не было надежды, не было имени. Он ждал. Ждал, когда стрела войдёт в грудь. Когда клинок перерубит шею. Когда смерть придёт и заберёт его.

И она пришла.

Не стрела. Не клинок. Тишина. Тишина, которая была плотнее любой ночи, тяжелее любого камня. Она вошла в него, как нож входит в тело, как правда входит в душу, как пустота входит в имя. И он упал. И не встал.

Эйнар открыл глаза.

Его лицо было мокрым от пота, несмотря на холод. Из носа текла кровь — тёмная, густая, почти чёрная — и капала на каменный пол, отражаясь в свете масляных ламп, множась, распадаясь, собираясь заново. Пальцы дрожали. В затылке пульсировало — не видение, память о видении. Тяжёлая, липкая, как смола.

— Четыре часа, — сказал он, и голос его был хриплым, чужим, но он был. Он мог говорить. Это было главным. — Он умрёт через четыре часа. На рассвете. Сердце остановится. Не от раны — от заражения. Кровь отравилась три дня назад, когда ему вспороли живот. Ни один лекарь не спасёт его. Ни один маг не вылечит. Он умрёт в час, когда петухи пропоют первый раз. И перед смертью он увидит лицо своей матери. И дочери. Он увидит дом у края ущелья. И он улыбнётся.

Кай смотрел на него, и в его глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — был страх. Не перед смертью — перед тем, что этот старик, этот седой, измождённый незнакомец, знал о нём то, чего не мог знать никто. Знало только его сердце. Только его память. Только его пустота.

— Откуда... — прошептал он, и голос его сорвался, превратился в хрип, в кашель, в проклятие, которое не могло вырваться наружу. — Откуда ты знаешь про дочь? Я никому не говорил. Никогда. Ни одной живой душе.

— Я — Пустой, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я вижу смерти. И то, что за ними. Я вижу вашу мать, Кай, сын Торвальда. Она умерла три года назад. Она ждёт вас. И дочь ваша — она жива. Она вырастет. Она никогда не узнает, как вы умерли. Только то, что вы не вернулись. Это всё, что я могу вам сказать. Простите.

Он отвернулся и пошёл к выходу. Стражники не останавливали его. Дрейк смотрел ему вслед, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Уважение.

Часть четвёртая. Сделка

VII

Дрейк ждал его у трона. Он не смотрел на часы — в зале не было часов. Он смотрел на дверь, в которую ушёл Эйнар, и считал удары своего сердца.

Четыре часа прошли. Рассвет наступил. Петухи пропели.

Стражник вошёл в зал, его лицо было бледным, почти белым. Он поклонился Дрейку, и голос его дрожал — от страха, от удивления, от того, что он видел то, чего не должно было случиться.

— Маршал, — сказал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Пленный... Кай... он умер. Час назад. Сердце остановилось. Лекари говорят — заражение. Ничего не могли сделать.

Дрейк молчал. Долго. Так долго, что стражник начал нервничать, переминаясь с ноги на ногу.

— Позовите Пустого, — сказал наконец Дрейк, и голос его был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалось напряжение — то самое, которое бывает у зверя, когда он чует добычу, но не знает, нападать или ждать.

Эйнар вошёл в зал через несколько минут. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — была усталость. Глубокая, тяжёлая, почти бездонная усталость человека, который победил, но не знает, стоила ли победа тех усилий.

— Ты назвал час, — сказал Дрейк, и голос его был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Ты не ошибся. Ты доказал свой дар. Теперь скажи: сколько осталось мне?

— Не сейчас, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Сначала сделка. Вы даёте мне армию. Я называю дату. Если я

ошибусь — вы ничего не теряете, кроме горстки солдат, которые всё равно умрут в вашей войне. Если я прав — вы успеете отомстить. Это честно.

— Честно? — переспросил Дрейк, и в его голосе появились новые нотки — не гнев, не ярость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Ты просишь у меня армию, Пустой. Армию, которую я собирал сорок лет. Армию, которая стоит мне жизни. И ты называешь это честным?

— Я называю это сделкой, — ответил Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Вы даёте мне то, что у вас есть. Я даю вам то, что у меня есть. Не жизнь — смерть. Своевременную. Осмысленную. Такую, о которой будут слагать песни. Вы умрёте на стенах ваших врагов, Маршал. С мечом в руке. С именем на устах. Вы умрёте так, как мечтали умереть, когда были молоды. Я даю вам эту смерть. А вы даёте мне шанс спасти тех, кто ещё может жить.

Тишина стала плотной, как смола. Дрейк смотрел на Эйнара, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего Эйнар не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Решение. Он принял его. Не смирился — принял. Как принимают неизбежное, когда понимают, что бороться бесполезно, но и сдаваться — нельзя.

— Хорошо, Пустой, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Я дам тебе армию. Не всю — пятую часть. Пять сотен копеечников. Две сотни конных лучников. Проводников. Капитана Ворна — он будет подчиняться тебе. Если моё время ещё не пришло — я дам остальных, когда ты назовёшь дату. Если пришло — ты получишь всё. Потому что мёртвому армия не нужна. Она нужна живым. А ты — жив, Пустой. Пока да.

Он подозвал писца — старика в чёрной, поношенной мантии, с лицом, покрытым пигментными пятнами, и пальцами, скрюченными от артрита. Диктовал указ — медленно, чётко, с расстановкой, как диктуют завещание, когда чувствуют, что время истекает.

— Я, Маршал Дрейк, правитель Домена Гранитных Клыкков, повелеваю: передать под командование Пустого, именуемого Эйнаром, пять сотен копеечников из гарнизона Восточных ворот, две сотни конных лучников из личной гвардии, а также проводников, знающих все тропы через перевалы. Капитану Ворну — подчиняться приказам Пустого до особого распоряжения Маршала. Указ вступает в силу немедленно.

Писец записал, протянул пергамент Дрейку. Маршал подписал — дрожащей рукой, но твёрдо. Поставил печать — тяжёлую, бронзовую, с изображением волка, раздирающего пасть дракона. Печать щёлкнула, и этот звук — сухой, металлический — прозвучал как выстрел, как приговор, как надежда.

Эйнар взял пергамент. Сложил. Спрятал за пазуху.

— Вы получите своё, Маршал, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я вернусь. До вашей смерти. Я назову вам час. И вы успеете. Клянусь пустотой.

— Не клянись тем, чего не понимаешь, Пустой, — ответил Дрейк, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Иди. Я буду ждать.

Часть пятая. Выход

VIII

Эйнар вышел из зала. Ноги не держали — он опирался на посох, и каждый шаг давался с трудом, как будто шёл не по каменному полу, а по жидкой грязи, которая засасывала, тянула вниз, не отпускала. Кровь из носа остановилась, но на губах остался металлический привкус — вкус пустоты, вкус смерти, вкус платы.

Ирис ждала у ворот. Увидела его — бледного, седого, с красными пятнами на лице от крови, которую она не успела вытереть, — и шагнула навстречу. Подхватила под руку. Повела к лагерю. Не спрашивала. Не говорила. Только сжимала его локоть — крепко, почти больно, как будто боялась, что если отпустит, он упадёт и не встанет.

— Ты назвал дату? — спросила она, когда они отошли достаточно далеко, чтобы стражники не слышали.

— Нет, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я назвал дату смерти пленника. Этого хватило, чтобы он поверил. Остальное — потом.

— Пленника? — переспросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую обиду. — Ты использовал свой дар на пленнике? Зачем? Чтобы доказать то, что он и так знал? Ты заплатил, Эйнар. Я вижу. Твои волосы... их стало больше. Белых. Седых. Мёртвых. Ты заплатил за человека, который всё равно должен был умереть.

— Я заплатил за армию, — ответил он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — За пять сотен копейщиков. За две сотни лучников. За проводников. За Ворна. Это дёшево, Ирис. Очень дёшево. Я мог заплатить больше. Я заплатил мало.

— Ты заплатил собой, — сказала она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую правду. — Каждый раз, когда ты используешь дар, ты платишь собой. Своей памятью. Своим временем. Своим именем. Сколько у тебя осталось, Эйнар? Сколько ещё платежей ты выдержишь? Одну? Две? Ни одной?

Он не ответил. Не мог. Не хотел. Правда была тяжелее любого клинка, тяжелее любой лжи, тяжелее любой пустоты. Но он не мог сказать её. Не потому, что боялся — потому, что знал: если он скажет, она не выдержит. А если она не выдержит — он останется один. А один в Пустоте — это смерть. Или исчезновение. Или то и другое вместе.

— Пойдём, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Нас ждут. Нам нужно готовиться к маршу. Завтра на рассвете мы выступаем.

IX

Ночью Эйнар не спал. Сидел у костра, глядя на угли, и слушал песню пыли, которую никто, кроме него, не мог слышать. Ирис спала в палатке — или притворялась, что спит. Альрик сидел у контейнера со Стеклом, сжимая посох, и его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Лис стояла на страже, её единственный глаз сверкал в темноте. Сигни спала — или притворялась, что спит.

Эйнар смотрел на звёзды. Они были чужими, далёкими, почти мёртвыми. И в одной из них, в самой яркой, в самой холодной, ему показалось, что он увидел отражение. Не своё — чужое. Тень. Длинную, тонкую, с неестественными пропорциями. Она стояла за его спиной, и её рука лежала на его плече. Не давила — держала. Как хозяин держит своё.

«Наблюдатель, — подумал он, и мысль эта была холодной, как лёд, как вода, как пустота. — Ты смотришь. Ты ждёшь. Ты помнишь. Зачем? Почему ты не оставишь меня? Почему ты не дашь мне умереть? Почему ты не дашь мне исчезнуть?»

Тень не ответила. Только рука на плече стала тяжелее. Только пустота внутри стала глубже. Только песня пыли стала громче.

Он закрыл глаза. Увидел темноту — не ту, абсолютную, всепоглощающую, которая ждала его в конце, а ту, внутреннюю, которая была его личной, никем не тронутой пустотой. Она не пульсировала — она дышала. В такт его дыханию. В такт его сердцу. В такт той песне, которую пела пыль.

«Я обманул Дрейка, — подумал он, и мысль эта была холодной, как лёд, как вода, как пустота. — Я сказал, что его отец ждёт его там, в пустоте. Я сказал, что он гордится. Но там никого нет. Только я. Только Наблюдатель. Только пустота. Но пусть он умрёт счастливым. Это единственное, что я могу дать ему за его солдат».

Он уснул под утро — тяжело, беспокойно, с открытыми глазами, которые смотрели в пустоту и не видели ничего. Только тень. Только руку на плече. Только песню пыли. И тишину. Которая ждала. Которая всегда ждала. У которой было время. Вечность.

X

В крепости, в Зале Совета, Маршал Дрейк сидел на троне и смотрел на карту.

Она была старой, потрёпанной, с выцветшими чернилами и потёртыми краями. На ней были отмечены все битвы, которые он выиграл и проиграл за сорок лет войны. Все крепости, которые он сжёг и которые сожгли у него. Все тропы, по которым ходили его разведчики и разведчики врага. Карта была его жизнью. Его памятью. Его надеждой.

Дрейк провёл пальцем по линии границы — там, где начиналась территория его врагов, Ущелья Черного Ворона. Провёл и остановился. Его палец дрожал. Не от старости — от того, что он чувствовал. Надежду. Ту самую, которую похоронил вместе с сыновьями, вместе с женой, вместе со своей молодостью. Она вернулась. Слабая, хрупкая, почти невидимая. Но она была.

— Я успею, — прошептал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как клятва. — Я успею. Я увижу их пепел. Я умру на их стенах. Я сделаю это. Клянусь.

Он приказал слугам наточить меч.

Впервые за десять лет он попросил поставить его на ноги — протез, кожаный, с железными вставками, который лекари сделали для него ещё тогда, когда нога была цела. Протез был неудобным, тяжёлым, он натирал культю, и каждый шаг отзывался болью. Но Дрейк не жаловался. Он встал. Сделал шаг. Второй. Третий.

Меч был тяжёлым — длинный, двуручный, с чёрной, маслянистой рукоятью и клинком, который помнил кровь его врагов. Дрейк взял его в правую руку — левая не держала, пальцы не сгибались, — и взвесил. Меч был лёгким. Лёгким, как надежда. Как память. Как пустота.

— Я готов, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

На рассвете, когда солнце поднялось над горами, разогнав утренний туман, Эйнар и его отряд вышли из лагеря. Пять сотен копейщиков и две сотни конных лучников ждали их у Восточных ворот, построившись в походные колонны. Капитан Ворн, верхом на чёрном жеребце, смотрел на Эйнара с тем холодным, оценивающим спокойствием, которое бывает только у людей, привыкших командовать тысячами.

— Куда прикажешь вести, Пустой? — спросил он, и голос его был низким, рокошущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице.

— На северо-запад, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — К следующему Домену. К следующему Маршалу. К следующей надежде.

Они пошли.

А в крепости, на стене, стоял Маршал Дрейк, опираясь на меч, и смотрел им вслед. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — было что-то, чего никто не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Спокойствие.

Он знал, что умрёт. Но он знал и то, что успеет. Успеет отомстить. Успеет увидеть пепел. Успеет умереть так, как мечтал умереть всю жизнь.

Этого было достаточно.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 82

ГЛАВА 83. КОМНАТА ПРОЩАНИЯ

Часть первая. Ночь перед прощанием

I

Эйнар не спал. Это уже перестало быть событием — его бессонница стала такой же привычной, как собственное дыхание, как пульсация Стекла за спиной, как шепот пыли, которую никто, кроме него, не слышал. Он сидел на каменном подоконнике в отведённой ему комнате, прислонившись спиной к холодной, шершавой стене, и смотрел в чёрное, звёздное небо через узкое, забранное решёткой окно. Звёзды были чужими, далёкими, почти мёртвыми — такими же, как в ту ночь, когда он стоял на краю плато и впервые увидел руку Наблюдателя на своём плече.

Комната была маленькой, тесной, как каменный мешок. Казарма для младших офицеров, которых никто не ждал обратно. Стены — грубо обтёсанный базальт, с пятнами сырости, похожими на карту неведомой страны. Пол — каменные плиты, стёртые до блеска тысячами сапог. В углу — железная кровать с тонким, колючим одеялом, на которой спала Ирис. Она свернулась калачиком, поджав колени к животу, и её лицо — бледное, усталое, с тенями под глазами, которые залегли так глубоко, что, казалось, никогда не исчезнут, — было спокойным. Не безмятежным — спокойным той особенной, военной тишиной, когда человек научился спать урывками, между тревогами, между ударами сердца.

Эйнар смотрел на неё, и в груди — там, где пустота пела свою тихую, тоскливую песню — что-то шевельнулось. Не боль — сожаление. Он сожалел о том, что втянул её в это. О том, что не смог уберечь. О том, что она шла за ним, потому что верила, а вера её, возможно, была ошибкой. Ирис была целительницей. Она должна была лечить раненых в тихих, безопасных лазаретах, а не тащиться через горы с армией, которая могла рассыпаться в любой момент, как песок сквозь пальцы.

Рядом с кроватью, на деревянном ящике, стоял контейнер со Стеклом. Альрик спал у двери, положив голову на мешок с сушёными травами, и его пальцы — тонкие, бледные, с суставами, которые выпирали, как камни из высохшей земли, — подрагивали во сне. Старик не отдыхал — он замерзал. Или истекал. Или просто ждал, когда всё кончится. Как все. Как он. Как они.

Эйнар перевёл взгляд на свои руки. Правую — здоровую, не перевязанную. Левую — перевязанную, слабую, почти бесполезную. Они были бледными, почти белыми, и под кожей, под тонкой, потрескавшейся кожей, пульсировали не жилки — пустота. Та самая, которую он носил с рождения. Та самая, которую он принял, как судьбу. Та самая, которая теперь была не только его — которая принадлежала Наблюдателю, который ждал.

Он закрыл глаза. Не для того, чтобы уснуть — для того, чтобы не видеть. Но темнота под веками была такой же пустой, как и звёзды за окном. И в этой темноте, в этой тишине, в этом ожидании, он снова слышал песню пыли. Она была тихой, далёкой, почти не слышной, но она была. Она всегда была. Пыль пела о тех, кто ушёл. О тех, кто остался. О тех, кто помнил. О тех, кто забыл. О тех, кто ждал. О тех, кто не дождался.

— Ты не спишь, — сказала Ирис, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

Эйнар открыл глаза. Она сидела на кровати, свесив ноги, и смотрела на него. Её волосы — чёрные, спутанные, с седыми прядями, которых раньше не было, — падали на лицо, закрывая половину щеки. В глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — не было сна. Она не спала. Или спала, но сны были хуже, чем бодрствование.

— Не сплю, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была усталость — глухая, беспросветная, как у человека, который слишком долго сражался и не знал, когда это кончится.

— Ты думаешь о завтрашнем дне? — спросила она, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на тихий, почти молитвенный вопрос.

— Я думаю о Дрейке, — ответил он. — О том, что он скажет. О том, что он сделает. О том, что он потребует. Я думаю о том, сколько у него осталось. Месяц? Два? Или меньше? Я думаю о том, что он уже знает. Знает, что умрёт. Знает, что не успеет. Знает, что всё, что он строил сорок лет, рассыплется в пыль, когда он закроет глаза.

— Ты боишься за него? — спросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую обиду.

— Я боюсь за себя, — сказал Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — За то, что он попросит. За то, что я не смогу отказать. За то, что я должен буду заплатить. Снова. Своей памятью. Своим временем. Своим именем.

Она встала, подошла к нему, села на подоконник рядом. Её плечо коснулось его плеча, и в этом прикосновении, в этом молчании, в этом ожидании, было что-то, от чего Эйнару стало тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память. Память о том, что он не один. Что его держат. Что его помнят. Что его любят.

— Ты не должен платить один, — сказала она, и голос её был ровным, спокойным, но в этом спокойствии была уверенность, которой она сама не чувствовала, но которая была нужна ему больше, чем правда. — Ты не должен тащить это бремя в одиночку. Я здесь. Я рядом. Я не уйду.

— Я знаю, — ответил он, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на тихую, спокойную благодарность. — Я знаю, Ирис. Ты — моя тень. Пока ты рядом — я есть. Пока ты жива — я не исчез. Я не забуду. Я запомню. Даже когда всё остальное исчезнет.

Они сидели так, глядя на звёзды, которые были чужими, далёкими, почти мёртвыми. И в одной из них, в самой яркой, в самой холодной, Эйнару показалось, что он увидел отражение. Не своё — чужое. Тень. Длинную, тонкую, с неестественными пропорциями. Она стояла за его спиной, и её рука лежала на его плече. Не давила — держала. Как хозяин держит своё.

II

Сон пришёл неожиданно, как всегда приходит то, чего боишься больше всего. Эйнар не заметил, когда закрыл глаза — просто вдруг понял, что темнота за окном стала другой. Не звёздной — пустой. Абсолютно, всепоглощающе пустой. И в этой пустоте, в этой глубине, в этом ожидании, он увидел дверь.

Она была старой, дубовой, обитой чёрным железом, с тяжёлой, бронзовой ручкой в виде волчьей головы. Эйнар узнал её — это была дверь в личные покои Маршала Дрейка. Та самая, которую он видел вчера, когда капитан Ворн провёл его в зал Совета. Но теперь дверь была приоткрыта, и из щели сочился свет — тусклый, жёлтый, как от масляной лампы, которая догорает, и фитиль уже начинает чадить.

Эйнар подошёл к двери. Не хотел — не мог не подойти. Что-то влекло его туда, за эту дверь, в эту комнату, где пахло ладаном и смертью. Что-то, что было сильнее страха. Сильнее инстинкта самосохранения. Сильнее всего, что он когда-либо чувствовал.

Он толкнул дверь. Она открылась без скрипа — медленно, плавно, как открываются двери в склепах, когда за ними нет ничего, кроме пустоты.

Комната внутри была маленькой, почти такой же, как его собственная. Каменные стены, каменный пол, каменный потолок. В углу — железная кровать с балдахином, на которой лежал человек. Старый, высохший, почти прозрачный, с лицом, покрытым сеткой глубоких морщин, и глазами — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками, которые смотрели в потолок и не видели ничего. Только пустоту.

Маршал Дрейк не выглядел великим воином. Он выглядел как труп, который забыл умереть.

На стене висела карта — старая, потрёпанная, с выцветшими чернилами и потёртыми краями. На ней были отмечены все битвы, которые Дрейк выиграл и проиграл за сорок лет войны. Все крепости, которые он сжёг и которые сожгли у него. Все тропы, по которым ходили его разведчики и разведчики врага. Карта была его жизнью. Его памятью. Его надеждой. И она умирала вместе с ним.

На столе — грубо сколоченном, из неструганых досок — стояла масляная лампа. Она горела тускло, желтоватым, почти свечным светом, и её пламя дрожало, как будто боялось погаснуть. Рядом с лампой — меч. Длинный, двуручный, с чёрной, маслянистой рукоятью и клинком, который помнил кровь его врагов. Меч был наточен — лезвие блестело в свете лампы, как зеркало, как лёд, как пустота.

— Входи, Пустой, — сказал Дрейк, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Я ждал тебя.

Эйнар вошёл. Остановился в трёх шагах от кровати. Посмотрел на Дрейка. В его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Не было удивления. Не было боли. Было что-то другое. Понимание. Он понимал, что это сон. Но сон, который был реальнее любой яви.

— Ты знаешь, — сказал он, и это был не вопрос — утверждение.

— Знаю, — ответил Дрейк, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Я всегда знал. С тех пор как ты вошёл в мой зал. С тех пор как назвал час смерти того пленника. С тех пор как посмотрел на меня своими пустыми глазами. Ты видел мою смерть, Пустой. Ты видел, когда и как я умру. Не лги. Я чувствую. У меня тоже есть дар — чують ложь. Он слабее твоего, но он есть.

Эйнар молчал. Не подтверждал. Не отрицал. Просто стоял и смотрел.

— Я не прошу называть час, — продолжал Дрейк, и его голос стал тише, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как признание, как исповедь, как прощание. — Я прошу другого. Сядь, Пустой. У меня нет сил смотреть на тебя снизу вверх.

Эйнар сел. На табурет, стоявший у кровати. Дерево было холодным, почти ледяным, как камень, как вода, как пустота.

III

— Мои сыновья мертвы, — сказал Дрейк, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — Оба. В один год. В одной битве. Старший — Йорун — держал знамя, когда стрела вошла ему в глаз. Упал, даже не вскрикнув. Младший — Хакон — бросился поднимать знамя, и копьё пробило ему грудь. Он умер на руках у лекаря. Через три часа. В бреду. Звал мать. Мать уже была мертва. Она сошла с ума от горя и бросилась со стены. Я похоронил их всех в один день. Жену, сыновей, надежду. Сорок лет войны. Сорок лет, Пустой. И ради чего? Ради того, чтобы умереть в этой каменной клетке, окружённый запахом собственной гниющей плоти?

Он замолчал. Эйнар молчал. Только пламя лампы дрожало, бросая тени на стены, на потолок, на лицо Дрейка, которое было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду.

— Враги, — продолжал Дрейк, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на горькую, холодную правду. — Ущелье Чёрного Ворона. Они убили моих сыновей. Они сожгли мои деревни. Они отравили мои колодцы. Я поклялся стереть их с лица земли. Я поклялся, что на их месте вырастет трава, и только трава. Я поклялся, что никто не вспомнит их имён. Я поклялся, и я не сдержал клятвы. Потому что они сильнее. Или я слабее. Или то и другое вместе. Я не знаю. Я только знаю, что мне не хватило времени. Или сил. Или удачи. Или всего сразу.

Он повернул голову, посмотрел на Эйнара. В его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было ненависти. Была усталость. Такая же глубокая, такая же тяжёлая, такая же безнадёжная, как у Эйнара.

— Ты говорил о мести, Пустой, — сказал он. — Ты говорил, что дашь мне умереть на стенах врага. С мечом в руке. С именем на устах. Ты говорил, что я успею. Ты лгал. Я знаю. Я не успею. Я умру здесь, в этой постели. От разрыва сердца. Или от гангрены. Или от того, что просто перестану дышать. Неважно. Я умру здесь. И никто не вспомнит моего имени. Никто не споёт о моей мести. Никто не придёт на мою могилу.

Эйнар хотел ответить. Возразить. Сказать: «Это не так! Вы успеете! Я сделаю так, чтобы вы успели!». Но слова застряли в горле, как кость, как комок пыли, как память, которая не хотела исчезать, но и не могла остаться. Потому что Дрейк был прав. Он не успеет. Он умрёт здесь. И никто не вспомнит его имени. Никто не споёт о его мести. Никто не придёт на его могилу.

— Я не прошу мести, — сказал Дрейк, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Я прошу другого. Я прошу, чтобы вы не повторили моих ошибок. Чтобы вы не тратили силы на войну, которую нельзя выиграть. Чтобы вы не убивали своих сыновей ради земли, которая не кормит. Чтобы вы не хоронили своих жён, потому что не смогли их уберечь. Я прошу, чтобы вы нашли этот проклятый Распад и уничтожили его. Чтобы вы сделали то, что не смог я. Чтобы вы дали моим людям цель, которой я не смог дать.

Он замолчал. Эйнар молчал. Только пламя лампы дрожало, бросая тени на стены, на потолок, на лицо Дрейка, который улыбался — той особенной, грустной, почти прощальной улыбкой, которая бывает только у людей, которые приняли свою смерть и не боятся её.

— Я отдаю тебе «Серых Волков», — сказал Дрейк, и слова эти прозвучали странно, чужеродно в этом месте, где говорили о смерти, о мести, о войне, но никогда — о передаче. — Триста человек. Элита. Ветераны, которые не знают страха. Они не будут слушать тебя, Пустой. Они будут смотреть на тебя. Оценивать. Испытывать. И если ты пройдёшь их испытание — они пойдут за тобой в самую пустоту. Если нет — они убьют тебя. Или бросят. Или забудут. Я не знаю. Но я даю тебе шанс. Единственный. Пользуйся им.

Эйнар смотрел на него, и в его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — было что-то, чего Дрейк не видел раньше. Не страх, не надежду, не усталость. Принятие. Он принял этот дар. Не как награду — как бремя. Не как победу — как начало.

— Я приму их, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я поведу их. Я сделаю то, что вы не смогли. Я найду Распад. Я уничтожу его. Или не уничтожу — но попытаюсь.

— Хорошо, Пустой, — сказал Дрейк, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Тогда иди. И не возвращайся. Сюда нельзя возвращаться. Это — комната прощания. Здесь прощаются с теми, кого любят. Здесь прощаются с теми, кого ненавидят. Здесь прощаются с собой. Я простился. Ты — нет. Иди, Пустой. И помни: ты — не спаситель. Ты — пустота. А пустота не спасает. Пустота только заполняет. Заполни их. Или не заполни — но попытайся.

Эйнар встал. Посмотрел на Дрейка в последний раз. В его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Не было надежды. Не было усталости. Было спокойствие. Спокойствие человека, который принял свою судьбу и не боится её.

Он повернулся и пошёл к выходу. Дверь открылась без скрипа. За ней была пустота. Абсолютная, всепоглощающая, без границ, без оттенков, без дна. И в этой пустоте, в этой глубине, в этом ожидании, он увидел тень. Длинную, тонкую, с неестественными пропорциями. Она стояла у порога, и её рука лежала на его плече. Не давила — держала. Как хозяин держит своё.

— Просыпайся, Пустой, — сказала тень, и голос её был голосом Наблюдателя — беззвучным, всепроникающим, древним, как сама пустота. — Тебя ждут. Твоё время ещё не пришло.

Эйнар открыл глаза.

Часть вторая. Утро в крепости

IV

Рассвет был серым, холодным, почти зимним. Небо над горами затянуло низкими, тяжёлыми облаками, которые не пропускали солнце, и свет был бледным, болезненно-жёлтым, как у масляной лампы, которая догорает, и фитиль уже начинает чадить. Эйнар сидел на подоконнике, прислонившись спиной к холодной, шершавой стене, и смотрел в окно. Его лицо было мокрым от пота, несмотря на холод. Из носа текла кровь — тёмная, густая, почти чёрная — и капала на каменный пол, отражаясь в бледном, утреннем свете, множась, распадаясь, собираясь заново.

Ирис стояла рядом, промывая его лицо холодной водой из фляги. Её пальцы — тонкие, бледные, с обломанными ногтями, с тёмными пятнами на коже — дрожали. Не от холода — от того, что она видела. От того, что она понимала. От того, что не могла не понять.

— Ты снова платил, — сказала она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Ты видел его. Дрейка. Во сне. Ты назвал ему дату? Ты сказал, когда он умрёт?

— Нет, — ответил Эйнар, и голос его был хриплым, чужим, но он был. Он мог говорить. Это было главным. — Я не назвал. Он не просил. Он просил другого.

— Чего? — спросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую обиду.

— Он отдал мне «Серых Волков», — сказал Эйнар, и слова эти прозвучали странно, чужеродно в этом месте, где говорили о смерти, о войне, о потерях, но никогда — о передаче. — Триста человек. Элита. Ветераны, которые не знают страха. Он сказал, что если я пройду их испытание — они пойдут за мной. Если нет — они убьют меня. Или бросят. Или забудут.

Ирис смотрела на него долго, изучающе. В её глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — не было страха. Не было надежды. Не было усталости. Был гнев. Не на него — на себя. На свою беспомощность. На то, что она не может взять это бремя на себя. Что она — всего лишь целительница. А целительницы лечат раны, но не лечат судьбу.

— Ты не военачальник, — сказала она, и голос её был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась ярость — глухая, тяжёлая, как удар топора. — Ты — Пустой. Ты — тот, кто видит смерти. Ты — тот, кто несёт Стекло. Ты не командовал и ротой. А теперь ты должен вести за собой триста человек? Триста ветеранов, которые старше тебя, опытнее тебя, злее тебя? Это безумие, Эйнар. Это...

— Это единственный шанс, — перебил он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — У нас нет другого Домена, который согласился бы нас принять. Нет другого Маршала, который согласился бы нас слушать. Нет другой надежды. Триста человек — это армия, Ирис. Это не кучка измученных беженцев. Это солдаты, которые умеют сражаться. Которые умеют убивать. Которые умеют умирать. Они — наше спасение. Или наша могила. Но без них мы — пыль. Песня. Пустота.

Альрик проснулся от их голосов. Старик открыл глаза, сел на своём мешке, опираясь на посох. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он смотрел на Эйнара, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Была усталость. Такая же глубокая, такая же тяжёлая, такая же безнадёжная, как у Эйнара.

— Ты принял их? — спросил он, и голос его был сухим, шуршащим, как осенние листья.

— Принял, — ответил Эйнар.

— Тогда готовься, — сказал Альрик, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную уверенность. — Испытание начнётся сегодня. «Серые Волки» не любят ждать. Они не любят приказы. Они не любят чужаков. Они проверят тебя. Каждое слово. Каждый взгляд. Каждый шаг. И если ты ошибёшься — они сожрут тебя. Не как врага — как слабого. А слабых они не уважают. Слабых они убивают.

Эйнар поднялся. Его ноги дрожали — мелко, нервно, в такт сердцу, которое колотилось где-то в горле. Но он стоял. Он стоял. Это было главным. Он посмотрел на Ирис, на Альрика, на контейнер со Стеклом, который стоял у двери, на стены, которые помнили войны, которых он не видел, на небо, которое было серым, холодным, почти мёртвым.

— Я готов, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

V

Капитан Ворн ждал у входа в казарму. Он стоял, опираясь на длинный, двуручный меч, и его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он смотрел на Эйнара, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точеч-

ными зрачками — не было презрения. Было что-то другое. Ожидание. Он ждал, когда Эйнар ошибётся. Когда упадёт. Когда покажет слабость.

— Маршал ждёт тебя, Пустой, — сказал он, и голос его был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Он приказал привести тебя в зал Совета. Сразу после завтрака. Иди. Не заставляй его ждать. Время уходит.

— Время всегда уходит, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я приду. Когда буду готов. Не раньше — не позже.

Ворн смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, Пустой, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Жди. Я передам Маршалу, что ты будешь в полдень.

Он повернулся и ушёл. Эйнар остался один. С Ирис. С Альриком. Со Стеклом. С пустотой, которая росла внутри него с каждым днём, с каждым шагом, с каждым ударом сердца.

Они позавтракали в молчании. Сухари, вяленое мясо, вода из фляги. Еда не лезла в горло, но Эйнар заставил себя есть. Силы нужны были. Он не знал, сколько их потребуется сегодня, но знал, что они понадобятся. Или не понадобятся — но быть готовым нужно.

Ирис сидела рядом, положив голову ему на плечо. Она не говорила. Не спрашивала. Не упрекала. Она просто держала его. Потому что если она отпустит — он исчезнет. Рассыплется в пыль. Станет пылью. И будет петь вместе с ней. Вечно. Без надежды на возвращение.

Альрик сидел у контейнера со Стеклом, сжимая посох, и его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он не ел. Не пил. Не спал. Он только слушал — пульсацию артефакта, которая становилась всё громче, всё настойчивее, всё отчаяннее. Трещина росла. Он знал это. Чувствовал. Но не говорил никому. Не потому, что боялся — потому, что знал: правда не спасёт. Правда только убьёт надежду. А без надежды они не выживут.

Часть третья. Зал Совета

VI

В полдень Эйнар вошёл в зал Совета.

Он был один. Ирис осталась у казармы. Альрик остался со Стеклом. Лис и Сигни — в лагере. Только он, только посох, только седые, почти белые волосы, которые Ирис замазала золой, но зола осыпалась уже к полудню, и все видели правду.

Зал был пуст. Только Дрейк сидел на троне — высоком, железном, с волком, раздирающим пасть дракона. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — светлых, почти

бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Было спокойствие. Спокойствие человека, который принял свою судьбу и не боится её.

— Ты пришёл, Пустой, — сказал он, и голос его был низким, хриплым, но в этом хрипе не было слабости — была усталость. Усталость человека, который слишком долго сражался и наконец увидел конец.

— Я пришёл, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

— Ты видел мой сон, — сказал Дрейк, и это был не вопрос — утверждение. — Ты видел мою комнату. Мою кровать. Мою карту. Мой меч. Ты слышал, что я сказал. Ты знаешь, что я отдаю тебе «Серых Волков». Ты знаешь, что они будут испытывать тебя. Ты знаешь, что они могут убить тебя. Ты знаешь всё. Зачем ты пришёл?

— Чтобы сказать «да», — ответил Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Я принимаю их. Я поведу их. Я сделаю то, что вы не смогли. Я найду Распад. Я уничтожу его. Или не уничтожу — но попытаюсь.

Дрейк смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Хорошо, Пустой, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Тогда иди. Они ждут тебя во дворе. Я приказал построить их к полудню. Они знают, что ты придёшь. Они знают, что я передаю их тебе. Они ждут. Иди, Пустой. И помни: ты — не спаситель. Ты — пустота. А пустота не спасает. Пустота только заполняет. Заполни их. Или не заполни — но попытайся.

Эйнар повернулся и пошёл к выходу. Дверь открылась без скрипа. За ней был двор. И триста пар глаз, которые смотрели на него с холодным, оценивающим спокойствием.

Часть четвёртая. Испытание «Серых Волков»

VII

Двор был вымощен чёрным, маслянистым камнем, который блестел в свете тусклого, полуденного солнца, как зеркало, как лёд, как пустота. Вокруг — казармы, склады, конюшни, кузницы. В центре — пустое пространство, где обычно строились солдаты для смотров и казней. Сегодня здесь стояли они — «Серые Волки».

Триста человек. Не больше, не меньше. В чёрных, потёртых доспехах, с волчьими головами на нашивках. В шлемах, которые скрывали лица, но не скрывали глаза. Глаза были разными — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками, и тёмными, глубокими, с красными прожилками на белках. Но в них было одно — холод. Холод людей, которые видели слишком много смертей, чтобы удивляться. Которые потеряли слишком много товарищей,

чтобы бояться. Которые перестали верить, потому что вера была роскошью, которую они не могли себе позволить.

Эйнар вышел в центр двора. Остановился. Положил посох на землю. Снял плащ — старый, потрескавшийся, который Ирис зашивала уже трижды. Остался в одной рубаше — серой, выцветшей, с пятнами пота и крови. Он стоял перед ними, бледный, седой, почти прозрачный, и смотрел в их глаза.

Они смотрели на него. Оценивали. Взвешивали. Считали.

— Я — Эйнар, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Пустой. Без отражения. Без тени. Без рода. Маршал Дрейк передал вас мне. Я принимаю вас. Я поведу вас. Я сделаю то, что не смог он. Я найду Распад. Я уничтожу его. Или не уничтожу — но попытаюсь.

Тишина стала плотной, как смола, как та настойка немоты, которую влила в него Хельга у ворот Терновой Гривы много лет назад. Ветераны переглядывались, но никто не говорил. Только ветер шумел в зубах стен, и где-то далеко скрежетала точильная машина — готовили оружие к новой битве.

Потом из строя вышел один. Высокий, широкоплечий, с лицом, покрытым сеткой глубоких шрамов, и глазами — светлыми, почти бесцветными, с точечными зрачками. Его доспех был старше, чем у других, потёрт до блеска, но за ним чувствовалась сила — не физическая, внутренняя. Сила человека, который выжил там, где другие умирали.

— Я — Рагнар, — сказал он, и голос его был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Капитан «Серых Волков». Маршал сказал, что ты видел Распад. Маршал сказал, что ты спустился в пустоту и вернулся. Маршал сказал, что ты — наша надежда. Я не верю в надежду. Я верю в то, что вижу. А я вижу старика с белыми волосами и трясущимися руками. Почему я должен идти за тобой, Пустой?

Эйнар смотрел на него. В его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было страха. Не было гнева. Не было усталости. Было что-то другое. Понимание.

— Ты не должен, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Ты можешь остаться здесь. Умереть в этой крепости. Сгнить в этой каменной клетке. Вместе с Дрейком. Вместе с теми, кто боится. Вместе с теми, кто не верит. Ты можешь остаться. Это твой выбор. Я не заставляю. Я предлагаю. Только тем, кто хочет идти. Тем, кто не боится умереть. Тем, кто готов умереть за то, во что верит.

Рагнар молчал. Долго. Так долго, что Эйнар начал считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять. Потом он медленно снял шлем. Положил его на землю. Подошёл к Эйнару. Остановился в шаге.

— Покажи, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — Покажи мне то, что видел ты. Покажи мне пустоту. Покажи мне то, во что я должен верить.

Эйнар закрыл глаза. Не потому, что боялся — потому, что нужно было смотреть. Смотреть внутрь. В пустоту. В ту самую, которая жила в нём с рождения. Которая ждала. Которая требовала.

Он провалился в себя. Не глубоко — так, чтобы коснуться поверхности, не падая на дно. Он искал образ. Не видение — знание. То знание, которое могло убедить. То знание, которое могло заставить поверить. То знание, которое могло изменить.

Видение пришло не сразу. Сначала — образы. Размытые, рваные, похожие на сны, которые забываешь, когда просыпаешься. Зал. Огромный, без стен, без пола, без потолка. В центре — фигура. Чёрная, маслянистая, идеально геометричная, с вертикальными щелями вместо глаз. Она стояла неподвижно, но он знал — она смотрит. На него. Сквозь него. В самую суть его пустоты.

А потом — трещина. Не та, которая была на Стекле. Другая. Тонкая, серебристая, пульсирующая. Она шла от фигуры к горизонту, от горизонта к небу, от неба к земле. Она была везде. В каждом камне, в каждом дереве, в каждом человеке, в каждом отражении. Она была реальностью. Или тем, что от неё осталось.

Эйнар открыл глаза.

Его лицо было мокрым от пота, несмотря на холод. Из носа текла кровь — тёмная, густая, почти чёрная — и капала на каменный пол, отражаясь в свете тусклого, полуденного солнца, множась, распадаясь, собираясь заново. Пальцы дрожали. В затылке пульсировало — не видение, память о видении. Тяжёлая, липкая, как смола.

— Вот что я видел, — сказал он, и голос его был хриплым, чужим, но он был. Он мог говорить. Это было главным. — Вот что ждёт нас. Вот с чем мы должны сражаться. Не с людьми — с пустотой. Не с армией — с концом. Не с врагом — с забвением. Я не прошу вас верить. Я прошу вас идти. И смотреть. И помнить. Потому что память — это единственное, что остаётся, когда всё остальное исчезает.

Рагнар смотрел на него. В его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Не было надежды. Не было усталости. Было что-то другое. Решение. Он принял его. Не смирился — принял. Как принимают неизбежное, когда понимают, что бороться бесполезно, но и сдаваться — нельзя.

— Хорошо, Пустой, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Я иду за тобой. Мы идём за тобой. Куда прикажешь?

— На северо-запад, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — К следующему Домену. К следующему Маршалу. К следующей надежде. Или к смерти. Какая разница? Мы идём.

Он поднял посох. Повернулся. Пошёл к выходу из двора. «Серые Волки» молча строились в колонну. Рагнар шёл впереди. Его шлем был в руке — он не надел его. И его глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — смотрели в спину Эйнару с тем особым,

холодным спокойствием, которое бывает только у людей, которые выбрали смерть, но не сдались.

Часть пятая. Последнее прощание

IX

Эйнар вернулся в казарму через час. Ирис ждала его у входа, сидя на камне, и её лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — была тревога. Она видела, как он уходил, и боялась, что не вернётся. Боялась, что «Серые Волки» убьют его. Боялась, что он не выдержит испытания. Боялась, что он сломается.

— Ты жив, — сказала она, и голос её дрогнул — впервые за много дней, впервые с тех пор, как они выбрались из расщелины.

— Жив, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

— Они приняли тебя?

— Приняли.

— Как?

— Как принимают смерть, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — С холодом и молчанием. С уважением и страхом. Они знают, что идут умирать. Они знают, что не вернуться. Они знают, что их имена исчезнут. И они идут. Потому что у них нет выбора. Как у нас.

Он прошёл в комнату. Альрик сидел у контейнера со Стеклом, сжимая посох, и его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он смотрел на Эйнара, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Была усталость. Такая же глубокая, такая же тяжёлая, такая же безнадёжная, как у Эйнара.

— Ты взял их, — сказал он, и это был не вопрос — утверждение.

— Взял, — ответил Эйнар.

— Тогда готовься к маршу, — сказал Альрик, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную уверенность. — Мы выступаем завтра на рассвете. Дрейк не будет держать тебя дольше. Он знает, что время кончилось. Его время. Твоё время. Наше время. Он не будет мешать. Он будет ждать. И умрёт. А ты будешь идти. Пока не дойдёшь. Или не упадёшь. Или не исчезнешь.

X

Ночью Эйнар снова не спал. Сидел у окна, глядя на звёзды, и слушал песню пыли, которую никто, кроме него, не мог слышать. Ирис спала на кровати — или притворялась, что спит. Альрик дремал у контейнера. Лис и Сигни были в лагере, с отрядом. «Серые Волки» заняли казармы напротив — триста человек, которые спали или не спали, но ждали. Ждали рассвета. Ждали приказа. Ждали конца.

Эйнар смотрел на звёзды. Они были чужими, далёкими, почти мёртвыми. И в одной из них, в самой яркой, в самой холодной, ему показалось, что он увидел отражение. Не своё — чужое. Тень. Длинную, тонкую, с неестественными пропорциями. Она стояла за его спиной, и её рука лежала на его плече. Не давила — держала. Как хозяин держит своё.

«Наблюдатель, — подумал он, и мысль эта была холодной, как лёд, как вода, как пустота. — Ты смотришь. Ты ждёшь. Ты помнишь. Зачем? Почему ты не оставишь меня? Почему ты не дашь мне умереть? Почему ты не дашь мне исчезнуть?»

Тень не ответила. Только рука на плече стала тяжелее. Только пустота внутри стала глубже. Только песня пыли стала громче.

Он закрыл глаза. Увидел темноту — не ту, абсолютную, всепоглощающую, которая ждала его в конце, а ту, внутреннюю, которая была его личной, никем не тронутой пустотой. Она не пульсировала — она дышала. В такт его дыханию. В такт его сердцу. В такт той песне, которую пела пыль.

«Я взял их, — подумал он, и мысль эта была холодной, как лёд, как вода, как пустота. — Я взял триста человек. Я взял их судьбы. Я взял их смерти. Я обещал им цель. Я обещал им надежду. Я обещал им то, чего не могу дать. Я лгал. И они знают это. И всё равно идут. Потому что у них нет выбора. Как у меня. Как у всех».

Он уснул под утро — тяжело, беспокойно, с открытыми глазами, которые смотрели в пустоту и не видели ничего. Только тень. Только руку на плече. Только песню пыли. И тишину. Которая ждала. Которая всегда ждала. У которой было время. Вечность.

XI

На рассвете Эйнар вышел из казармы. Ирис шла рядом. Альрик нёс контейнер со Стеклом. Лис и Сигни замыкали колонну. «Серые Волки» стояли во дворе, построенные в походные порядки. Триста человек. Триста судеб. Триста надежд. Триста смертей.

Капитан Ворн ждал у ворот. Его лицо было бледным, почти белым, и в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Было спокойствие. Спокойствие человека, который принял приказ и не собирается его оспаривать.

— Маршал приказал передать тебе, — сказал он, и голос его был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Иди. Не оглядывайся. И не возвращайся. Сюда нельзя возвращаться. Это — комната прощания. Здесь прощаются с теми, кого любят. Здесь прощаются с теми, кого ненавидят. Здесь прощаются с собой. Маршал

простился. Ты — нет. Иди, Пустой. И помни: ты — не спаситель. Ты — пустота. А пустота не спасает. Пустота только заполняет. Заполни их. Или не заполни — но попытайся.

Эйнар кивнул. Повернулся. Пошёл к воротам.

А на стене, опираясь на меч, стоял Маршал Дрейк. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Было спокойствие. Спокойствие человека, который принял свою судьбу и не боится её. Он смотрел, как уходит отряд, как уходит его надежда, как уходит его последняя битва.

— Прощай, Пустой, — прошептал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как молитва. — Прощай и иди. Я буду ждать. Я всегда жду. У меня есть время. Вечность.

Эйнар не оглянулся. Не мог. Не хотел. Он знал, что если оглянется — увидит не старика на стене. Увидит себя. Своё отражение. Свою пустоту. Свою смерть.

Он шёл. И пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно. Пыль пела о том, кто принял армию. О том, кто не сдался. О том, кто помнил. Даже когда память хотела умереть. Даже когда пустота звала. Даже когда надежда была так близко — рукой подать.

А впереди, за грядой холмов, начинались земли, где ждал следующий Домен. Следующий Маршал. Следующая надежда.

Или смерть.

Какая разница?

Он шёл.

Он сделал.

Он не сдался.

Этого достаточно.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 83

ГЛАВА 84. ПРИЗРАК ЛОРДА КОРВУСА

Часть первая. Вести из тени

I

Лагерь разбили в низине, где ветер не дул, но воздух был сырым, как в погребке. Эйнар не спал, и это уже перестало быть событием — его бессонница стала такой же привычной, как собственное дыхание, как пульсация Стекла за спиной, как шепот пыли, которую никто,

кроме него, не слышал. Он сидел у чадающего костра, прислонившись спиной к холодному, шершавому валуну, и смотрел, как серое, низкое небо светлеет на востоке — не рассветом, а той бледной, болезненной желтизной, которая не обещает тепла, только напоминает, что ночь кончилась, а тяжесть осталась.

Ирис спала рядом, укрывшись плащом, и её лицо — бледное, усталое, с тенями под глазами, которые залегли так глубоко, что, казалось, никогда не исчезнут, — было спокойным. Не безмятежным — спокойным той особенной, военной тишиной, когда человек научился спать урывками, между тревогами, между ударами сердца. Эйнар смотрел на неё, и в груди — там, где пустота пела свою тихую, тоскливую песню — что-то шевельнулось. Не боль — сожаление. Он сожалел о том, что втянул её в это. О том, что не смог уберечь. О том, что она шла за ним, потому что верила, а вера её, возможно, была ошибкой.

Альрик сидел у контейнера со Стеклом, положив руку на свинцовую крышку, и его пальцы — тонкие, бледные, с суставами, которые выпирали, как камни из высохшей земли, — подрагивали во сне. Старик не отдыхал — он замерзал. Или истекал. Или просто ждал, когда всё кончится. Как все. Как он. Как они. Контейнер был закрыт на четыре застёжки, но Эйнар чувствовал трещину. Она росла. Не физически — сущностно. Каждый час, каждый шаг, каждый удар сердца делали её глубже, шире, неумолимее.

«Серые Волки» расположились в полукольце вокруг лагеря, выставив двойные дозоры. Рагнар, их капитан, спал не спал — сидел на камне, положив шлем на колени, и его глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — смотрели в темноту с той холодной, оценивающей пустотой, которая бывает только у людей, привыкших ждать смерти и не бояться её. Триста человек. Триста судеб. Триста надежд. Триста смертей, которые Эйнар взял на себя, когда принял их от Дрейка. Бремя, которое было тяжелее любого клинка, тяжелее любой лжи, тяжелее любой пустоты.

Лис ушла в ночной дозор ещё до полуночи и не вернулась. Это не было странным — разведчики часто исчезали на несколько часов, проверяя окрестности, снимая следы, выслеживая чужаков. Но Эйнар чувствовал: сегодня что-то не так. Воздух был слишком спокойным. Слишком мёртвым. Как перед грозой, когда даже ветер замирает, потому что знает — скоро придёт буря, и нечего тратить силы на пустое шевеление.

Он закрыл глаза. Не для того, чтобы уснуть — для того, чтобы не видеть. Но темнота под веками была такой же пустой, как и звёзды за спиной. И в этой темноте, в этой тишине, в этом ожидании, он снова услышал песню пыли. Она была тихой, далёкой, почти не слышной, но она была. Она всегда была. Пыль пела о тех, кто ушёл. О тех, кто остался. О тех, кто помнил. О тех, кто забыл. О тех, кто ждал. О тех, кто не дождался.

А потом он услышал шаги. Не Лис — чужие. Мерные, тяжёлые, уверенные. Шаги человека, который не боится, что его услышат. Шаги гонца.

Эйнар открыл глаза. Из темноты выступил всадник — высокий, сутулый, в длинном чёрном плаще с серебристой вышивкой на воротнике. Герб — ворон, сидящий на копье. Цвета «Чёрного Пика». Центрального Домена, которого они ещё не достигли, но о котором слышали достаточно. Столица. Трон. Власть. И Лорд Корвус — человек, которого никто не видел, но которого все боялись.

Всадник не слез с лошади. Остановился в двадцати шагах от костра, и его лицо — молодое, но без возраста, с пустыми, почти бесцветными глазами — было спокойным. Спокойствием могилы. Спокойствием того, кто пришёл не говорить — передать.

— Я ищу Пустого, — сказал он, и голос его был ровным, без интонаций, как у человека, который повторяет заученные слова.

— Я — Пустой, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Говори.

Всадник достал из-за пазухи свиток. Длинный, запечатанный чёрным сургучом с оттиском ворона. Печать была тяжёлой, бронзовой — такая не подделывается. Такая стоит дороже, чем год жалованья капитана. Он бросил свиток на землю — не передал, бросил, как бросают подаяние нищему.

— Лорд Корвус, Хранитель Центрального Домена «Чёрный Пик», повелевает: зачитать вслух. При всех. При свидетелях.

Эйнар не двинулся. Смотрел на свиток, лежащий на камне, и в затылке пульсировало — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола. Он знал, что сейчас случится что-то важное. Что-то, что изменит всё. Или не изменит ничего. Но что-то случится.

Ирис проснулась от звука голосов. Села, протёрла глаза. Увидела всадника, свиток, лицо Эйнара — бледное, почти прозрачное в свете умирающих углей. Не спросила, что случилось. Подошла, подняла свиток. Пальцы её — тонкие, бледные, с обломанными ногтями — дрожали. Она знала. Чувствовала. Печать Ордена — не та, которую ей дала Агата, другая. Печать власти, которая не знает милосердия.

— Читай, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

Ирис развернула свиток. Пергамент был плотным, дорогим, с водяными знаками — такие использовали только для указов, которые не подлежали обжалованию. Текст был написан чёрными чернилами, каллиграфическим почерком, каждая буква выведена с той пугающей аккуратностью, которая бывает только у писцов, которые знают: их работу будут читать тысячи.

Она читала, и её голос дрожал — от усталости, от страха, от того, что она не могла остановиться.

— «Именем Лорда Корвуса, Хранителя Центрального Домена «Чёрный Пик», Защитника Южных Рубежей, Наместника Пустоты...»

Эйнар усмехнулся — горько, одними уголками губ.

— Наместника Пустоты? Он взял себе этот титул? Он не знает, что такое пустота. Он не смотрел в её глаза.

Ирис продолжала:

— «...объявляется: Эйнар, именующий себя Пустым, без рода, без имени, без отражения, является лжепророком и еретиком. Его учение о Распаде признаётся ложным и вредоносным. Его спутники — пособниками скверны. Его артефакт — подделкой, не имеющей силы...»

Альрик вскочил, его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду.

— Подделкой?! — крикнул он, и голос его сорвался на панический визг. — Подделкой?! Да я нёс это Стекло через три Домена! Я видел, как оно останавливало волны Распада! Я видел трещину, которая растёт с каждым днём! Это не подделка! Это... это...

— Тихо, — сказал Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — Пусть читает.

Ирис сглотнула. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — были слёзы. Не от страха — от того, что она читала. От того, что она понимала. От того, что не могла не понять.

— «...За голову лжепророка Эйнара назначается награда в пятьсот золотых монет и земельный надел в Центральном Домене. За содействие поимке — сто золотых монет. За укрытельство — смерть на месте без суда и следствия. За распространение слухов о Распаде — отсечение языка и изгнание. Указ вступает в силу с момента оглашения».

Она замолчала. Тишина стала плотной, как смола, как та настойка немоты, которую влила в неё Хельга у ворот Терновой Гривы много лет назад.

II

Всадник не уехал. Стоял, глядя на Эйнара сверху вниз, и его лицо — молодое, без возраста, с пустыми, почти бесцветными глазами — не выражало ничего. Ни страха, ни презрения, ни любопытства. Только ожидание. Он ждал ответа. Или реакции. Или смерти. Эйнар не знал. Ему было всё равно.

— Передай своему господину, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти, — что я не лжепророк. Я — Пустой. Я видел Распад. Я спустился в пустоту и вернулся. Я нёс Стекло через три Домена. Я видел, как умирают те, кто не верил. Я не прошу верить. Я только иду. И если Лорд Корвус хочет остановить меня — пусть придёт сам. Или пришлёт своих убийц. Или подождёт, когда Распад придёт к нему. А он придёт. Рано или поздно. И тогда Лорд Корвус узнает, что такое настоящая пустота. Не титул — смерть. Исчезновение. Забвение.

Всадник смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно развернул лошадь, и его голос был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Ты умрёшь, Пустой. Не от руки Лорда — от рук тех, кто захочет получить награду. Их будут сотни. Тысячи. Они пойдут за тобой по пятам. Они будут ждать в ущельях, в лесах, в городах, в каждой деревне, в каждом доме. Ты не сможешь спать. Не сможешь есть. Не сможешь дышать. Потому что каждый, кто посмотрит на тебя, будет видеть не человека — золото. И ты умрёшь. Не героем — дичью. И никто не вспомнит твоего имени. Никто не споёт о тебе песню.

Никто не придёт на твою могилу. Прощай, Пустой. Мы ещё встретимся. Но в следующий раз я не буду передавать письмо. Я буду приносить твою голову.

Он уехал. Лошадь скрылась в темноте, и звук копыт затих так же внезапно, как появился. Тишина стала плотной, как смола. Ирис стояла, сжимая свиток, и её пальцы — тонкие, бледные, с обломанными ногтями — дрожали.

— Пятьсот монет, — прошептала она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Пятьсот золотых монет за твою голову, Эйнар. Это... это больше, чем зарабатывает крестьянин за всю жизнь. Это больше, чем стоит земля в любом Домене. Ты понимаешь, что это значит?

— Понимаю, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Это значит, что теперь за нами будут охотиться. Не Распад — люди. А люди страшнее Распада. Распад убивает быстро. Люди — медленно. С наслаждением. С изобретательностью. С надеждой на награду. Но это не меняет ничего. Мы идём дальше. Мы не останавливаемся. Потому что если мы остановимся — мы проиграли. Не сегодня — завтра. Или не завтра — через месяц. Но проиграли. А я не хочу проигрывать. Я хочу идти. С вами. До конца. Что бы ни случилось.

Часть вторая. Механизмы страха

III

Совещание созвали через час, когда небо на востоке начало светлеть — не рассветом, а той бледной, болезненной желтизной, которая обещает тяжёлый день. В шатре — маленьком, тесном, продуваемом всеми ветрами — собрались те, кто имел право голоса. Ирис, Альрик, Лис, Сигни, капитан Ворн, Рагнар — капитан «Серых Волков». Эйнар сидел в углу, прислонившись спиной к холодному, брезентовому пологу, и его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было сна. Не было усталости. Не было страха. Была пустота. Та самая, которая росла с каждым днём, с каждым шагом, с каждым ударом сердца.

— Пятьсот монет, — повторил Ворн, и его голос был низким, рокочущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — За голову одного человека. Я не видел такой награды даже за измену Маршала. Корвус не шутит. Он хочет твоей смерти, Пустой. Не пленения — смерти. Это важно. Если бы он хотел взять тебя живым — награда была бы ниже. Мёртвые не говорят. Мёртвые не спорят. Мёртвые не ведут за собой армии.

— Он боится, — сказал Рагнар, и его голос был таким же, как у Ворна — низким, рокочущим, но в нём была сталь. Сталь человека, который не боится ни врагов, ни наград, ни смерти. — Корвус боится, что Пустой прав. Что Распад существует. Что стены «Чёрного Пика» не спасут. Что его власть — иллюзия, которая рассыплется, как песок, когда придёт правда. Он не может убить правду. Но он может убить того, кто её говорит.

— Это не только страх, — сказала Лис, и её единственный глаз сверкал в свете масляной лампы, как уголь, как лезвие, как надежда. — Это расчёт. Корвус знает, что мы идём на

северо-запад, к следующему Домену. Значит, он боится, что мы найдём там союзников. Что мы соберём армию. Что мы станем угрозой. Он бросает охотников на наш след, чтобы задержать нас. Или убить. Или рассеять. Ему не нужна наша смерть — ему нужно наше время. Пока мы будем отбиваться от наёмников, он укрепит свои границы. Подкупит соседей. Разожжёт старые войны. Он играет в долгую. А мы — нет. У нас нет времени.

— Времени нет ни у кого, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Корвус думает, что он играет в долгую. Он ошибается. Распад не ждёт. Распад идёт. С каждым часом. С каждым ударом сердца. Корвус может строить стены, подкупать маршалов, убивать гонцов. Это не остановит Распад. Это только отсрочит неизбежное. А отсрочка — это не победа. Это медленная смерть.

Сигни сидела в углу, поджав колени к подбородку, и её глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — смотрели на Эйнара с тем холодным, оценивающим презрением, которое бывает только у людей, которые привыкли выживать, а не верить. Она не верила в успех. Не верила в Эйнара. Не верила в надежду. Она верила только в свою руку, свой нож и свою способность исчезнуть, когда всё пойдёт не так.

— Ты понимаешь, что это значит? — спросила она, и голос её был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалось напряжение — то самое, которое бывает у зверя, когда он чувствует опасность, но не знает, откуда она придёт. — Пятьсот монет. Это не просто награда. Это приговор. Каждый охотник за головами, каждый бандит, каждый отчаявшийся крестьянин теперь будет смотреть на тебя как на мешок золота. Ты не сможешь заходить в города. Не сможешь покупать еду. Не сможешь лечить раненых. Ты станешь изгоем. И мы — вместе с тобой. Нас будут травить, как диких зверей. Нас будут убивать во сне. Нас будут предавать те, кому мы помогали. Ты готов к этому, Пустой? Ты готов смотреть в глаза тем, кто продаст тебя за сто монет?

— Я готов, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Я готов смотреть. Я готов помнить. Я готов прощать. Потому что если я не буду готов — я стану таким же, как они. Злым. Жадным. Трусливым. А я не хочу быть трусом. Я хочу идти. Даже если за мной охотятся. Даже если меня предадут. Даже если я умру. Я иду. Не для того, чтобы выжить — для того, чтобы не сдаться.

IV

Альрик молчал. Сидел у входа в шатёр, сжимая контейнер со Стеклом, и его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он не смотрел на Эйнара. Не смотрел на Ирис. Не смотрел на Лис. Он смотрел на контейнер, на свинцовую крышку, на бронзовые застёжки, и слушал. Слушал пульсацию артефакта, которая становилась всё громче, всё настойчивее, всё отчаяннее. Трещина росла. Он знал это. Чувствовал. Но не говорил никому. Не потому, что боялся — потому, что знал: правда не спасёт. Правда только убьёт надежду. А без надежды они не выживут.

— Альрик, — сказала Ирис, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Что ты думаешь? Стекло выдержит? Если нас атакуют? Если придётся использовать его в бою?

Альрик поднял голову. Его глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — смотрели на неё с той пугающей пустотой, которая бывает только у людей, которые видели слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить.

— Не знаю, — ответил он, и голос его был сухим, шуршащим, как осенние листья. — Трещина растёт. С каждым часом. С каждым шагом. С каждым ударом сердца. Если мы будем использовать Стекло в бою — оно рассыплется через два-три сражения. Если не будем — рассыплется через неделю. Или через месяц. Я не знаю. Я только хранитель. Не пророк. Я не вижу будущего. Я вижу только трещины. И они растут.

Он замолчал. Ирис молчала. Эйнар молчал. Только ветер шумел в брезенте, и где-то далеко, на краю лагеря, перекликались часовые. И пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно. Пыль пела о том, кто нёс Стекло. О том, кто не сдался. О том, кто помнил. Даже когда память хотела умереть. Даже когда пустота звала. Даже когда надежда была так близко — рукой подать.

Часть третья. Призрак без лица

V

Ворн рассказывал о Корвусе нехотя, как рассказывают о болезни, которую не могут вылечить, но о которой не могут молчать. Его голос был низким, рокочущим, но в нём появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на страх. Не перед Корвусом — перед тем, что он знал. Перед тем, что видел. Перед тем, что не мог объяснить.

— Я видел его один раз, — сказал Ворн, и его пальцы — толстые, кривые, с чёрной каймой под ногтями — сжали край стола так, что костяшки побелели. — Десять лет назад. В «Чёрном Пике». Я был капитаном стражи, меня вызвали на совет. Я вошёл в зал, а он сидел на троне. Лица я не видел — капюшон, тени, магия или просто игра света. Но глаза я запомнил. Они были пустыми. Не серыми, не голубыми, не чёрными — пустыми. Как у тебя, Пустой. Такие же. Без отражения. Без страха. Без надежды. Я смотрел в них и чувствовал, что смотрю в могилу. В свою могилу.

— Ты хочешь сказать, что он тоже Пустой? — спросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на тихий, почти молитвенный вопрос.

— Я хочу сказать, что он — не человек, — ответил Ворн, и его голос стал тише, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Или перестал им быть. Легенды говорят, что он заключил сделку с чем-то древним. С чем-то, что живёт в пустоте. С чем-то, что дало ему власть над Доменами. Но власть — это не дар. Это плата. И он платит. Каждый день. Каждый час. Каждую минуту. Своей памятью. Своим временем. Своим именем. Как ты, Пустой. Только он не знает, зачем платит. Или знает, но не может остановиться.

Эйнар слушал, и в затылке пульсировало — не видение, предчувствие. Тяжёлое, липкое, как смола. Он знал этого Корвуса. Знал, не видя. Знал, как знают врага, с которым ещё не встретились, но который уже стоит у тебя за спиной. Знал, потому что Корвус был его отраже-

нием. Тем, кем он мог бы стать, если бы выбрал власть вместо памяти. Если бы продал пустоту вместо того, чтобы нести её.

— Он боится, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Он боится не меня — себя. Своего отражения. Своей пустоты. Он знает, что Распад идёт. Знает, что стены не спасут. Знает, что власть — это иллюзия. Но он не может остановиться. Потому что если он остановится — он умрёт. Исчезнет. Станет пылью. Он предпочитает убивать. предавать. Разжигать войны. Лишь бы не смотреть в глаза правде. А правда проста: он — не Хранитель. Он — жертва. Как я. Как мы. Только он не знает этого. Или знает, но не хочет признавать.

VI

Сигни слушала, и её лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Она не верила ни в Корвуса, ни в Эйнара, ни в Распад. Она верила только в то, что видела своими глазами. А видела она, как Эйнар смотрел в пустоту и возвращался. Как Стекло пульсировало в руках Альрика. Как трещина росла с каждым днём. Как люди умирали, потому что верили. И как они продолжали идти, потому что не верили ни во что другое.

— Ты говоришь о Корвусе, — сказала она, и голос её был ровным, спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась усталость — глухая, беспросветная, как у человека, который слишком долго сражался и не знал, когда это кончится. — Но ты не сказал главного. Как с ним бороться? Как остановить его? Он не выйдет на поле боя. Не подставит голову под меч. Он будет прятаться за стенами, за наёмниками, за магией. Он будет посылать убийц, пока мы не устанем. Пока не сдадимся. Пока не умрём. Как ты собираешься победить того, кто не воюет?

— Я не собираюсь его побеждать, — ответил Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — Я собираюсь дойти до «Чёрного Пика». Я собираюсь встать перед его воротами. Я собираюсь сказать ему правду. Ту правду, которую он боится услышать. И тогда он сам выйдет. Или не выйдет — но его люди увидят. Увидят, что он — не бог. Не Хранитель. Не наместник. А трус, который боится правды. И они отвернутся от него. Как отворачиваются от всех, кто врёт. Потому что правда — это единственное, что остаётся, когда всё остальное исчезает.

VII

Ночью, когда шатёр опустел, а люди разошлись по своим местам — кто в дозор, кто в палатки, кто к кострам, — Эйнар остался один. Ирис сидела рядом, положив голову ему на плечо, и её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Но она не спала. Не могла. Слишком много мыслей, слишком много страха, слишком много вопросов, на которые не было ответов.

— Эйнар, — сказала она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Ты знаешь, кто такой Корвус? Не из рассказов Ворна — из пустоты. Ты видел его там? В центре бури? Среди корней Распада?

Эйнар молчал. Долго. Так долго, что Ирис начала считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять. Потом он медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— Я видел его тень, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Не его — тень. Она стояла за спиной Наблюдателя. Длинная, тонкая, с неестественными пропорциями. Она не двигалась — она ждала. Ждала, когда я подойду ближе. Когда коснусь Стекла. Когда стану таким же, как он. Пустым, который продал пустоту. Я не стал. Я ушёл. Но тень запомнила меня. И теперь она здесь. В указе Корвуса. В награде за мою голову. В каждом шаге, который мы делаем на северо-запад.

— Тень? — переспросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую обиду. — Ты хочешь сказать, что Корвус — не человек? Что он — тень Наблюдателя?

— Я хочу сказать, что он — призрак, — ответил Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — Призрак, который не знает, что он мёртв. Он думает, что он правит. А на самом деле — им правят. Наблюдатель. Пустота. Распад. Он — не причина. Он — следствие. Как я. Как трещина в Стекле. Как песня пыли. Только он не знает этого. Или знает, но не может изменить. Потому что если он изменится — он исчезнет. А он не хочет исчезать. Он хочет жить. Даже если жить — значит убивать. Предавать. Разжигать войны. Он выбрал жизнь. Я выбрал память. Каждый выбирает своё.

Часть четвёртая. Приговорённые

VIII

Утром отряд двинулся в путь. Небо было серым, низким, с рваными облаками, которые плыли медленно и важно, словно у них было много времени. Ветер дул с севера, холодный, колющий, пахнувший снегом и мёрзлой землёй. Люди молчали. Даже Лис не перебрасывалась короткими фразами с разведчиками. Даже Альрик не бормотал свои древние молитвы. Только шаги, скрип колёс, редкий кашель. И тишина. Та самая, которая была плотнее любой ночи, тяжелее любого камня.

Эйнар шёл первым. Его ноги дрожали — мелко, нервно, в такт сердцу, которое колотилось где-то в горле. Но он шёл. Он шёл. Это было главным. Ирис шла рядом, и её плечо касалось его плеча, и в этом прикосновении, в этом молчании, в этом ожидании, было что-то, от чего Эйнару становилось тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память. Память о том, что он не один. Что его держат. Что его помнят. Что его любят.

«Серые Волки» шли в арьергарде, выставив двойные дозоры. Рагнар, их капитан, ехал верхом на чёрном жеребце, и его глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — смотрели вдаль, туда, где за грядой холмов начиналась территория следующего Домена. Он не знал, что там ждёт. Не знал, будут ли их встречать с миром или с камнями. Знал только, что они идут. Потому что если не идти — не зачем жить. Если не идти — лучше упасть. Если не идти — лучше исчезнуть.

Альрик нёс контейнер со Стеклом, и его руки — тонкие, бледные, с суставами, которые выпирали, как камни из высохшей земли, — дрожали. Не от холода — от усталости. От той глухой, беспросветной усталости, которая бывает у людей, которые слишком долго несли слишком тяжёлое бремя. Он не знал, сколько ещё протянет. Не знал, сколько протянет Стекло. Знал только, что они — одно. И если одно упадёт — упадёт другое. А если упадут оба — не останется ничего. Только пыль. Только песня. Только пустота.

Лис шла в авангарде, её единственный глаз сверкал. Она не оборачивалась — не хотела видеть, как отряд тащится за ней, как люди смотрят в землю и не поднимают глаз, как Эйнар идёт, опираясь на посох, и его лицо — бледное, измождённое, с красными прожилками на белках — становится старше с каждым днём. Она считала. Патрули, смены караулов, количество всадников на горизонте, направление ветра. Всё это было её работой. Её жизнью. Её смертью.

Сигни шла в середине колонны, сжимая нож, и её глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — смотрели на каждого, кто проходил мимо, с тем холодным, оценивающим презрением, которое бывает только у людей, которые привыкли выживать, а не верить. Она не верила в успех. Не верила в Эйнара. Не верила в надежду. Она верила только в свою руку, свой нож и свою способность исчезнуть, когда всё пойдёт не так. И она ждала. Ждала, когда Эйнар ошибётся. Когда устанет. Когда упадёт. И тогда она будет рядом. Не чтобы помочь — чтобы добить.

IX

На привале, когда солнце поднялось над горами, разогнав утренний туман, Эйнар собрал командиров. Ворн, Рагнар, Лис, Ирис. Альрик остался у контейнера — он не отходил от Стекла ни на шаг. Сигни не пригласили — она не обиделась. Она была тенью. А тени не приглашают на советы.

— Мы ускоряемся, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — У нас нет времени на долгие переходы. У нас нет времени на отдых. У нас нет времени на страх. Мы должны дойти до следующего Домена раньше, чем весть о награде разлетится по всем землям. Если Корвус опередит нас — нас встретят стрелами, камнями, ядом. Если мы опередим его — мы сможем объяснить. Рассказать. Убедить. Или не убедим — но попытаемся.

— Ускориться? — переспросил Ворн, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Мы и так идём на пределе. Люди падают от усталости. Лошади хромают. Припасы тают. Если мы ускоримся — мы потеряем треть отряда за неделю. Не в бою — в переходе. Не от врага — от собственной глупости.

— Тогда мы потеряем треть, — сказал Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Но остальные дойдут. А если мы не ускоримся — нас перехватят. Убьют. Разграбят. Продадут. Я выбираю потери в пути. Это честнее, чем смерть от рук наёмников.

Рагнар смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно кивнул — так кивают, когда слышат правду, которую знали, но боялись признать.

— «Серые Волки» выдержат, — сказал он, и голос его был низким, рокочущим, но в нём была сталь. — Мы не спали и дольше. Не ели и меньше. Не боялись и страшнее. Мы идём за тобой, Пустой. Не потому, что верим — потому, что у нас нет выбора. Ты — наша надежда. Или наша смерть. Какая разница? Мы идём.

Он замолчал. Эйнар молчал. Только ветер шумел в скалах, и где-то далеко, на краю неба, сгущались тучи — серые, тяжёлые, почти чёрные. Они обещали снег. Или дождь. Или то и другое вместе. Неважно. Они шли. Потому что если не идти — не зачем жить. Если не идти — лучше упасть. Если не идти — лучше исчезнуть. А они не хотели исчезать. Они хотели идти. До конца. Что бы ни случилось.

Х

Ночью Эйнар снова не спал. Сидел у костра, глядя на угли, и слушал песню пыли, которую никто, кроме него, не мог слышать. Ирис сидела рядом, положив голову ему на плечо, и её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она спала — или притворялась, что спит. Альрик дремал у контейнера. Лис стояла на страже. «Серые Волки» отдыхали — кто в палатках, кто прямо на земле, подстелив под себя плащи и сёдла.

Эйнар смотрел на звёзды. Они были чужими, далёкими, почти мёртвыми. И в одной из них, в самой яркой, в самой холодной, ему показалось, что он увидел отражение. Не своё — чужое. Тень. Длинную, тонкую, с неестественными пропорциями. Она стояла за его спиной, и её рука лежала на его плече. Не давила — держала. Как хозяин держит своё.

«Наблюдатель, — подумал он, и мысль эта была холодной, как лёд, как вода, как пустота. — Ты смотришь. Ты ждёшь. Ты помнишь. Зачем? Почему ты не оставишь меня? Почему ты не дашь мне умереть? Почему ты не дашь мне исчезнуть?»

Тень не ответила. Только рука на плече стала тяжелее. Только пустота внутри стала глубже. Только песня пыли стала громче.

Он закрыл глаза. Увидел темноту — не ту, абсолютную, всепоглощающую, которая ждала его в конце, а ту, внутреннюю, которая была его личной, никем не тронутой пустотой. Она не пульсировала — она дышала. В такт его дыханию. В такт его сердцу. В такт той песне, которую пела пыль.

«Я взял их, — подумал он, и мысль эта была холодной, как лёд, как вода, как пустота. — Я взял триста человек. Я взял их судьбы. Я взял их смерти. Я обещал им цель. Я обещал им надежду. Я обещал им то, чего не могу дать. Я лгал. И они знают это. И всё равно идут. Потому что у них нет выбора. Как у меня. Как у всех. И Корвус знает это. И он боится. Не меня — себя. Своего отражения. Своей пустоты. Он знает, что мы — одно. И если я дойду — он исчезнет. Рассыплется в пыль. Станет пылью. И будет петь вместе с ней. Вечно. Без надежды на возвращение».

Он уснул под утро — тяжело, беспокойно, с открытыми глазами, которые смотрели в пустоту и не видели ничего. Только тень. Только руку на плече. Только песню пыли. И тишину. Которая ждала. Которая всегда ждала. У которой было время. Вечность.

XI

А в «Чёрном Пике», за толстыми стенами, которые не брала ни вода, ни время, ни скверна, Лорд Корвус сидел в своём кресле и смотрел на карту. Она была старой, потрёпанной, с выцветшими чернилами и потёртыми краями. На ней были отмечены все Домены, которые он завоевал и потерял за сорок лет власти. Все крепости, которые он сжёг и которые сожгли у него. Все тропы, по которым ходили его разведчики и разведчики врага. Карта была его жизнью. Его памятью. Его надеждой. И она умирала вместе с ним.

Он провёл пальцем по линии, которая вела к Домену Гранитных Клыков. Провёл и остановился. Палец дрожал. Не от старости — от того, что он чувствовал. Страх. Ту самую, которую похоронил вместе с сыновьями, вместе с женой, вместе со своей молодостью. Она вернулась. Слабая, хрупкая, почти невидимая. Но она была.

— Пустой, — прошептал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как клятва. — Пустой идёт. Я чувствую. Он знает. Он видел. Он вернётся. Или не вернётся — но попытается. Я должен остановить его. Или не остановить — но попытаться. Потому что если он дойдёт — я исчезну. Рассыплюсь в пыль. Стану пылью. И буду петь вместе с ней. Вечно. Без надежды на возвращение.

Он подозвал писца. Приказал написать ещё один указ. Увеличить награду. Отправить гонцов во все Домены. Найти охотников. Купить убийц. Подкупить союзников. Уничтожить врага. Любой ценой. Или умереть, пытаясь.

Писец записывал, и его рука дрожала. Он знал, что подписывает смертные приговоры. Не только Пустому — себе. Потому что Лорд Корвус не прощал ошибок. Даже тем, кто их не совершал.

Корвус смотрел на карту, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Был холод. Холод человека, который выбрал власть вместо памяти. Который продал пустоту. Который стал призраком. И теперь боялся, что другой призрак придёт и займёт его место.

— Я не сдамся, — прошептал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как клятва. — Я не сдамся, Пустой. Я не дам тебе пройти. Я не дам тебе сказать правду. Я не дам тебе спасти их. Я убью тебя. Или умру сам. Третьего не дано.

Он сжал подлокотник кресла, и пальцы его — длинные, тонкие, с идеально чистыми ногтями — впились в дерево так, что щепки полетели в стороны.

Он ждал. Как всегда ждал. У него было время. Вечность.

Но он знал: Пустой не остановится. Пустой будет идти. Пустой будет идти, пока не дойдёт до конца. Или не упадёт. Или не исчезнет. Или не станет пылью. Или не станет им. Или не станет собой. Или не станет никем.

Какая разница?

Он ждал. И пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно.

Пыль пела о том, кто объявил охоту. О том, кто не сдался. О том, кто помнил. Даже когда память хотела умереть. Даже когда пустота звала. Даже когда надежда была так близко — рукой подать.

А в горах, на северо-западе, отряд Эйнара шёл в темноту. Впереди было ущелье. Засада. Смерть.

Но это будет в следующей главе.

А сейчас — они шли.

И пыль пела.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 84

ГЛАВА 85. ЗАСАДА В УЩЕЛЬЕ

Часть первая. Горло каменного зверя

I

Ущелье открылось перед ними на исходе третьего дня после того, как весть о награде Лорда Корвуса разлетелась по лагерю, как чума. Эйнар не считал переходы — сбился со счёта после того, как память начала путать дни с ночами, а рассветы — с закатами. Он просто шёл, опираясь на посох, и чувствовал, как пустота внутри него — та самая, которая росла с каждым шагом, с каждым ударом сердца, — становилась всё более нетерпеливой. Она не болела — она ждала. Как зверь, который затаился в норе, зная, что добыча сама придёт к нему. Как память, которая знает, что её забудут, но продолжает цепляться за последние образы. Как имя, которое стирается с могильной плиты, но всё ещё различимо, если смотреть под определённым углом.

Местные проводники из «Серых Волков» называли это место «Горло Каменного Зверя». Старое название, доставшееся от тех времён, когда Домены ещё не знали Распада, а война была войной людей с людьми, а не с пустотой. Говорили, что здесь, в этих тесных, сходящихся стенах, когда-то заживо съели целый отряд кочевников — то ли камни сомкнулись, то ли земля разверзлась, то ли сам Зверь проснулся и почувствовал запах крови. Эйнар не верил в легенды. Он верил в то, что видел своими глазами. А видел он стены — чёрные, маслянистые, уходящие вверх на сотни футов, сходящиеся так близко, что в самом узком месте небо превращалось в тонкую, дрожащую щель, похожую на шрам на старой, зажившей ране.

Ирис шла рядом, её плечо касалось его плеча, и в этом прикосновении, в этом молчании, в этом ожидании было что-то, от чего Эйнару становилось тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память. Память о том, что он не один. Что его держат.

Что его помнят. Что его любят. Даже когда сил не оставалось. Даже когда надежда умирала. Даже когда пыль пела громче обычного, и в её песне слышались голоса тех, кто уже не мог говорить.

— Ты чувствуешь? — спросила она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Здесь что-то не так. Воздух... он слишком спокойный. Слишком мёртвый. Как перед грозой, когда даже ветер замирает, потому что знает — скоро придёт буря.

— Чувствую, — ответил он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. Но в этой ровности, в этом спокойствии, была тяжесть. Тяжесть предчувствия. Тяжесть знания. Тяжесть пустоты. — Здесь недавно стреляли. Я чую запах селитры и жжёного железа. Они знали, что мы придём. Они ждали. И они готовились.

Лис, шедшая в авангарде, подняла руку — сигнал опасности. Её единственный глаз, живой, острый, почти хищный, сверкнул. Она остановилась на полшага, прислушалась, вдыхаясь в серую, каменную даль. Её ноздри раздувались — она чувала то, что не могли учуять другие. Запах страха. Запах недавней крови. Запах засады.

— Там, впереди, — сказала она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Четыреста шагов. Поворот. Стены сходятся так, что можно проехать только по одному. Идеальное место для засады. Если они там — мы не пройдем. Или пройдем, но потеряем половину отряда.

— Тогда мы не будем проходить, — сказал Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Мы выманит их. Или обойдем. Или заставим их выйти на открытое место.

— Нет, — сказал Рагнар, капитан «Серых Волков». Он подъехал на своём чёрном жеребце, и его лицо — грубое, обветренное, с глубоким шрамом через левую щеку — было бледным, почти белым. В его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Было спокойствие. Спокойствие человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться, и слишком много лжи, чтобы верить. — Обхода нет. Проводники проверяли. Стены уходят вверх на сотни футов, и никто не знает, что там, наверху. Снег. Лёд. Пустота. Мы не сможем подняться. Единственный путь — через ущелье. Или назад. А назад — это смерть. Корвус отправил ещё три отряда в другие проходы. Мы отрезаны.

II

Эйнар смотрел на ущелье. На чёрные, маслянистые стены, которые блестели в свете тусклого, полуденного солнца, как зеркало, как лёд, как пустота. На узкую, дрожащую щель неба, которая напоминала ему трещину в Стекле — тонкую, почти незаметную, но смертельную. На камни, которые лежали на земле, как кости, как память, как предупреждение.

Он закрыл глаза. Провалился в пустоту. Не глубоко — так, чтобы коснуться поверхности, не падая на дно. Он искал нити — те самые, которые видел у призмы, когда сдвигал балку, когда платил годами, когда старел на глазах. Те, которые показывают вероятности. Те, которые могут указать путь. Те, которые могут предсказать смерть.

Видение было размытым. Как треснутая линза. Как память, которая умирает. Как отражение в мутной воде. Он видел не будущее — он видел трещины. Не нити — разрывы. Не пути — пропасти. И в этих пропастях, в этой чёрной, маслянистой глубине, он снова увидел тени. Огромные, расплывающиеся, движущиеся. Они не были похожи на Сторожевых Псов. Не были похожи на Хранителя. Они были больше. Намного. Они двигались медленно, тяжело, как двигаются горы, когда время берёт своё. Как двигаются материки, когда никто не смотрит. Как двигаются боги, когда они ещё не проснулись, но уже начинают ворочаться во сне.

Но среди этих теней, в этой тьме, в этом ожидании, он увидел и другое. Людей. Много людей. С арбалетами, с камнями, с бочками, полными смолы. Они стояли на стенах — не наверху, на выступах, которые не были видны с земли. Они ждали. Они знали, что он придёт. Они знали, куда ударить. Они знали, как убить.

Он открыл глаза.

— Четыре отряда, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Двести человек. Может быть, двести пятьдесят. Они на стенах, на выступах, в расщелинах. У них есть стрелы, камни, смола. Они ждут, когда мы войдём в самую узкую часть. Тогда они ударят. И мы умрём. Или не умрём — но потеряем почти всех.

— Откуда ты знаешь? — спросил Ворн, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Ты видел их? Ты говорил с ними? Ты...

— Я видел их смерть, — перебил Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — Не их — свою. Свою смерть. Свою тень. Свою пустоту. Она там, впереди. В самом узком месте. Она ждёт меня. Или не меня — всех нас. Но она ждёт. И если мы войдём — она настигнет.

Тишина стала плотной, как смола, как та настойка немоты, которую влила в него Хельга у ворот Терновой Гривы много лет назад. Люди переглядывались, но никто не говорил. Только ветер шумел в скалах, и где-то далеко, на стенах ущелья, срывался камень — или показалось.

III

Рагнар слез с лошади. Подошёл к Эйнару. Остановился в шаге. Его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он смотрел на Эйнара, и в его глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Было что-то другое. Решение. Он принял его. Не смирился — принял. Как принимают неизбежное, когда понимают, что бороться бесполезно, но и сдаваться — нельзя.

— «Серые Волки» пойдут первыми, — сказал он, и голос его был низким, рокошущим, как камни, которые перетирают друг друга в водяной мельнице. — Мы прикроем вас щитами. Мы выдержим первый удар. Вы успеете пройти. Или не пройдёте — но попытаетесь.

— Нет, — сказал Эйнар, и слово это прозвучало как приговор, как правда, как надежда. — Я пойду первым. Я — тот, кого они хотят убить. Я — Пустой. Я — цель. Если я буду впереди, они сосредоточат огонь на мне. Вы успеете пройти. Или не пройдёте — но попытаетесь.

— Ты не воин, Пустой, — сказал Рагнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Ты даже меч не удержишь. Твои руки дрожат. Твои ноги не держат. Ты упадёшь после первого шага. И тогда мы все умрём. Не потому, что ты слаб — потому, что ты не умеешь умирать. Ты умеешь только смотреть. А смотреть — это не сражаться.

Эйнар смотрел на него долго, изучающе. В его глазах — серых, усталых, с красными прожилками на белках — не было гнева. Не было обиды. Не было усталости. Было что-то другое. Понимание.

— Я не воин, — согласился он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Но я — Пустой. А Пустые не умирают. Они исчезают. Или не исчезают — становятся пылью. Или не становятся — поют. Я не хочу петь. Я хочу идти. И я пойду первым. Не потому, что я храбрый. Потому, что я — единственный, кто может их видеть. Видеть их смерти. Видеть их страх. Видеть их пустоту. И если я пойду первым, я смогу... сдвинуть. Сдвинуть нити. Изменить вероятности. Заплатить. Если нужно.

— Заплатить? — переспросила Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую обиду. — Ты снова хочешь заплатить? Своей памятью? Своим временем? Своим именем? Ты не выдержишь, Эйнар. Ещё одна плата — и ты рассыплешься. Станешь пылью. Будешь петь вместе с ней. Я не хочу, чтобы ты пел. Я хочу, чтобы ты говорил. Я хочу слышать твой голос. Живой. Настоящий. Человеческий.

— Я выдержу, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Я должен выдерживать. Потому что если я не выдержу — вы умрёте. Все. И я умру вместе с вами. Не физически — метафизически. Моё имя исчезнет. Моя память исчезнет. Моя пустота исчезнет. Останется только песня. А я не хочу быть песней. Я хочу быть собой. Даже если «собой» — это ошибка, прореха, дыра. Это — моё. И я не отдам.

Часть вторая. Эхо засады

IV

Отряд двинулся в ущелье через час. Солнце стояло в зените, но его лучи почти не проникали между сходящимися стенами. Тени были длинными, чёрными, почти живыми. Они тянулись по камням, как корни, как вены, как трещины. Эйнар шёл первым. Его ноги дрожали — мелко, нервно, в такт сердцу, которое колотилось где-то в горле. Но он шёл. Он шёл. Это было главным.

Ирис шла за ним, в трёх шагах. Её лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — тёмных, глубоких, с красными прожилками на белках — была молитва. Не богам — Эйнару. Молитва, которую она не могла произнести вслух, потому что слова были слишком слабы, потому что молитва не знает слов, потому что надежда не нуждается в языке.

«Пожалуйста, — думала она, и мысль эта была тёплой, как кровь, как дыхание, как жизнь. — Пожалуйста, не умирай. Не сейчас. Не здесь. Не так. Я не хочу быть одна. Я не хочу нести Стекло без тебя. Я не хочу идти дальше, если тебя не будет рядом. Пожалуйста».

«Серые Волки» шли в арьергарде, выставив щиты вверх и по бокам. Рагнар ехал в середине колонны, его глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — сканировали стены, выступы, расщелины. Он искал врага. Он знал, что враг здесь. Чувствовал. Запах селитры и жжёного железа становился всё сильнее с каждым шагом.

Альрик нёс контейнер со Стеклом, и его руки — тонкие, бледные, с суставами, которые выпирали, как камни из высохшей земли — дрожали. Не от холода — от того, что он чувствовал. Артефакт пульсировал чаще, чем обычно. Громче. Настойчивее. Он знал, что это значит. Трещина росла. Или не росла — но требовала. Требовала выхода. Требовала использования. Требовала платы.

— Эйнар, — прошептал он, и голос его был сухим, шуршащим, как осенние листья. — Стекло... оно хочет быть использованным. Я чувствую. Оно знает, что мы идём в ловушку. Оно готовится. Оно... оно проснулось.

— Пусть спит, — ответил Эйнар, не оборачиваясь. — Я не буду использовать его, если смогу. Оно нужно нам для Распада. Не для людей. Людей можно остановить и без него.

— А если нет? — спросил Альрик, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную уверенность. — Если они убьют нас раньше, чем мы встретим Распад? Тогда Стекло не нужно будет никому. Оно достанется Корвусу. Или разобьётся. Или исчезнет. Как ты. Как мы. Как всё.

Эйнар не ответил. Не мог. Не хотел. Он знал, что Альрик прав. Но он не мог заставить себя сказать это вслух. Не мог признать, что они уже проиграли, даже если выиграют эту битву. Не мог принять, что цена победы — его жизнь. Его имя. Его память.

V

Первая стрела прилетела, когда они вошли в самую узкую часть ущелья.

Эйнар не увидел её — только услышал свист. Тонкий, высокий, почти музыкальный свист, который заставил зубы заныть, а позвонки заскрежетать друг о друга с сухим, тоскливым звуком. Свист, который был не звуком — предупреждением. Предупреждением о том, что танец начался. Что отступить некуда. Что надо или стоять, или падать. Но не бежать.

Стрела вошла в грудь головному дозорному — молодому парню из «Серых Волков», которого Эйнар не знал по имени. Он упал, даже не вскрикнув. Его глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками — смотрели в небо, в узкую, дрожащую щель, и в них не было страха. Было удивление. Он не ожидал. Он не был готов. Он умер быстро — и это было единственным утешением.

— Засада! — крикнул Рагнар, и голос его прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Щиты вверх! Прикрыть колонну! Не останавливаться! Идти вперёд!

Но идти вперёд было невозможно.

Стрелы посыпались сверху, как дождь, как град, как проклятие. Они летели с обеих сторон, с выступов, которые не были видны с земли, с расщелин, которые, казалось, сами рождали смерть. Они были отравлены — Эйнар понял это по тому, как быстро чернела кожа вокруг ран. Яд был быстрым, почти мгновенным. Одна царапина — и человек падал через несколько секунд.

— Не вдыхать! — крикнула Ирис, и она бросилась к раненому, но было поздно. Его лицо уже было чёрным, почти обугленным, и изо рта шла пена — чёрная, маслянистая, пульсирующая. — Яд... он... он не из растений. Он из скверны. Распад. Они используют Распад, Эйнар! Они научились...

— Не может быть, — сказал Альрик, и его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. — Распад нельзя использовать. Он не подчиняется. Он только сжирает. Он...

— А если Корвус нашёл способ? — перебил Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — Если он заключил сделку? Если он продал пустоту, а она дала ему оружие? Тогда мы не просто в ловушке. Мы в аду. И отсюда нет выхода.

Камни посыпались следом за стрелами. Огромные, чёрные, маслянистые камни, которые срывались со стен и падали вниз, сметая всё на своём пути. Они не были случайными — они были направленными. Наёмники наверху знали, куда бросать. Они целились в повозки, в раненых, в контейнер со Стеклом. Они хотели не просто убить — они хотели уничтожить. Раздавить. Стереть в пыль.

— Лис! — крикнул Эйнар, и его голос сорвался на панический визг. — Где они? Откуда стреляют? Я не вижу! Я...

— Я вижу! — крикнула Лис, и её единственный глаз сверкал, как уголь, как лезвие, как надежда. — Там, на высоте тридцати футов, слева. Там, на высоте сорока, справа. Они на выступах. Они... они не люди. Я не чувствую их. Не слышу. Они как тени. Как призраки. Как...

— Как пустота, — закончил Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Они — не наёмники. Они — слуги Корвуса. Те, кто продал себя пустоте. Те, кто стал её частью. Они не чувствуют боли. Не чувствуют страха. Не чувствуют ничего. И убить их можно только одним способом — раздавить. Стереть. Уничтожить.

VI

Второй отряд наёмников встретил их у моста.

Это был естественный каменный мост — узкий, не шире трёх шагов, перекинутый через расщелину, у которой не было дна. Эйнар смотрел в эту расщелину, и ему казалось, что он смотрит в глаза Наблюдателя — те же пустота, тот же холод, то же ожидание. Внизу было ничего. Абсолютно ничего. Ни света, ни тьмы, ни звука. Только пустота. Та самая, которая

жила внутри него. Та самая, которую он нёс, как бремя. Та самая, которая теперь смотрела на него из бездны.

На другой стороне моста стояли они. Двадцать человек в чёрных, маслянистых доспехах, с щитами, с мечами, с копьями. Их лица были скрыты шлемами — чёрными, с узкими прорезями для глаз, похожими на морды хищных зверей. Но Эйнар знал: под этими шлемами нет ничего. Ни лиц, ни имён, ни памяти. Только пустота. Та же, что и внизу.

— Они не пропустят нас, — сказал Рагнар, и его голос был низким, рокочущим, но в нём появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на спокойную, холодную решимость. — Они будут стоять до последнего. Или не до последнего — до тех пор, пока мы не умрём. Или они. Мы должны пройти. Или умереть, пытаюсь.

— Я пойду первым, — сказал Ворн, и он вытащил меч — длинный, двуручный, с чёрной, маслянистой рукоятью и клинком, который помнил кровь его врагов. — Я — капитан. Моё дело — командовать. И умирать первым, если нужно.

— Нет, — сказал Эйнар, и слово это прозвучало как приговор, как правда, как надежда. — Я пойду первым. Я — Пустой. Я — тот, кого они хотят убить. Если я пойду, они сосредоточатся на мне. Вы успеете пройти. Или не пройдёте — но попытаетесь.

— Ты не выдержишь и минуты, — сказал Ворн, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Твои руки дрожат. Твои ноги не держат. Ты упадёшь после первого удара. И тогда мы все умрём.

— Я не буду драться, — ответил Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Я буду смотреть. Смотреть в их глаза. Смотреть в их пустоту. И они увидят в моих глазах то, что боятся увидеть. Себя. Свою смерть. Своё исчезновение. И они отступят. Или не отступят — но заколеблются. А заминка — это всё, что нам нужно.

Часть третья. Гнев Пустоты

VII

Эйнар вышел на мост.

Он шёл медленно, опираясь на посох, и каждый шаг давался с трудом, как будто шёл не по камню — по жидкой грязи, которая засасывала, тянула вниз, не отпускала. Его ноги дрожали — мелко, нервно, в такт сердцу, которое колотилось где-то в горле. Но он шёл. Он шёл. Это было главным.

Наёмники на другой стороне не двигались. Стояли неподвижно, как статуи, как изваяния, как память. Их чёрные доспехи блестели в свете тусклого, полуденного солнца, как зеркало, как лёд, как пустота. Сквозь узкие прорези шлемов Эйнар видел глаза — светлые, почти бесцветные, с точечными зрачками. Такие же, как у него. Такие же пустые. Такие же мёртвые.

— Пустите нас, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Мы не враги вам. Мы идём к Корвусу. Мы хотим говорить с ним. Мы не хотим крови. Ни вашей — ни своей.

Наёмники не ответили. Только сжали оружие крепче. Только сделали шаг вперёд — один, второй, третий. Их шаги были тяжёлыми, мерными, почти механическими. Как у кукол, которых дёргают за нитки. Как у теней, которые не знают, что они — тени.

— Они не слышат, — сказала Ирис, стоявшая на берегу. — Или слышат, но не понимают. Или понимают, но не могут ответить. Они — не люди, Эйнар. Они — пустота. И говорить с ними бесполезно.

— Тогда я буду не говорить, — ответил Эйнар, и он закрыл глаза. Не от страха — от того, что нужно было смотреть. Смотреть внутрь. В пустоту. В ту самую, которая жила в нём с рождения. Которая ждала. Которая требовала.

Он провалился в себя. Не глубоко — так, чтобы коснуться поверхности, не падая на дно. Он искал нить. Ту самую, тонкую, серебристую, пульсирующую, которая вела от этих теней к их смерти. Не к будущему — к неизбежности. Не к выбору — к концу.

Нить была чёрной. Не серебристой, как у живых. Чёрной, как обсидиан, как вода в колодце мёртвой деревни, как пустота, которая ждала его в конце. Она пульсировала слабо, едва заметно, как пульсирует умирающий уголь, когда ветер стихает, и пламя не знает, гореть дальше или уступить тьме.

Эйнар коснулся нити — не пальцами, той частью себя, которая была пустотой. Она ото-звалась болью. Не физической — метафизической. Болью человека, который умирал. Болью его матери, которая не знала, что сын уже не вернётся. Болью его отца, который проклинал войну, но не мог остановиться. Болью его имени, которое стиралось, исчезало, становилось пылью.

Он открыл глаза.

— Они умрут, — сказал он, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Не от меча — от времени. Не от раны — от пустоты. Они уже мертвы. Просто ещё не знают этого. Или знают, но не могут изменить. Как я. Как мы. Как все.

VIII

Первая волна наёмников бросилась вперёд, и Эйнар понял: ждать больше нельзя.

Он не думал. Не сомневался. Не боялся. Он просто сделал шаг назад — не от страха, от того, что ему нужно было пространство. Пространство для Стекла. Пространство для пустоты. Пространство для платы, которую он собирался заплатить.

— Альрик! — крикнул он, и голос его прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Открой контейнер! Стекло нужно мне! Сейчас!

Альрик не колебался. Его пальцы — тонкие, бледные, с суставами, которые выпирали, как камни из высохшей земли — расстегнули застёжки. Одну. Вторую. Третью. Четвёртую. Контейнер открылся.

Свет, который хлынул наружу, был не тем, тёплым, золотым, живым, который согревает в холодную ночь. Другим. Холодным. Пульсирующим. Светом, который не освещал — проникал. Проникал сквозь кожу, сквозь мышцы, сквозь кости, в самую глубину, где жил страх, где пульсировала пустота, где не было ни слов, ни образов, ни времени.

Эйнар протянул руку — правую, здоровую, не перевязанную — и коснулся Стекла.

В этот же миг мир изменился.

Не постепенно, как меняется день, когда солнце уходит за горизонт и тени становятся длиннее, а тишина — глубже. И не внезапно, как обрывается струна на старых гуслях, когда пальцы музыканта застывают в последнем аккорде, а эхо ещё дрожит в воздухе, но уже неживое, не тёплое, не настоящее. Мир изменился так, как меняется лицо умирающего, когда боль уходит и остаётся только тишина. Он стал прозрачным. Или не прозрачным — пустым. Или не пустым — ожидающим. Эйнар видел всё. Каждый камень, каждую трещину, каждую тень. И он видел нити. Тысячи, десятки тысяч, миллионы тончайших, серебристых нитей, которые переплетались, расходились, сходились в узлы, обрывались, начинаясь заново. Нити были живыми. Они пульсировали — в такт его дыханию, в такт его сердцу, в такт той пустоте, которая жила внутри него.

Он нашёл нить, которая вела к стене. К той самой, чёрной, маслянистой, на которой стояли наёмники. Она была не серебристой, как у живых — серой, тяжёлой, почти мёртвой. Она пульсировала не в такт его сердцу — в такт чему-то другому, что было старше времени. Чему-то, что помнило то, что забыли боги. Чему-то, что ждало своего часа.

Эйнар коснулся нити — и потянул.

Он не знал, как это делается. Не учился. Не практиковался. Просто сделал, как делал тогда, в зале Хранителя, когда сдвигал балку. Как делал, когда смотрел в глаза Наблюдателя и не отводил взгляд. Как делал, когда выбирал боль вместо покоя, память вместо счастья, имя вместо забвения. Он потянул, и нить поддалась.

IX

В реальном мире, в ущелье «Горло Каменного Зверя», стена дрогнула.

Не рухнула — дрогнула, как дрожит старая, рассыпающаяся кость, когда её сдвливают слишком сильно. Из трещин посыпалась пыль — серая, маслянистая, мёртвая. Она падала медленно, тяжело, неотвратно, как падает время, когда его никто не считает, как падает память, когда её некому помнить, как падает надежда, когда не на что надеяться.

Наёмники на стене замерли. Они не знали, что происходит. Не знали, почему камень под их ногами начал вибрировать. Не знали, почему воздух стал плотным, почти осязаемым, как вода на глубине. Они смотрели друг на друга, и в их глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — впервые за долгое время появился страх. Не тот, животный, который

заставляет бежать, — другой. Экзистенциальный. Страх перед тем, что ты — не ты. Что ты — ошибка. Что ты — исключение. Что ты — то, чего не должно было быть.

Эйнар потянул сильнее.

Кровь пошла из носа — тёмная, густая, почти чёрная — и капала на каменный пол, отражаясь в свете Стекла, множась, распадаясь, собираясь заново. Он не чувствовал боли. Только пустоту. Только усталость. Только память о том, что он делал. И о том, что он терял.

— Эйнар! — крикнула Ирис, и голос её прорвал тишину, как меч прорывает кожу. — Эйнар, остановись! Ты убьёшь себя! Ты не выдержишь! Стекло... оно... оно забирает тебя!

— Я знаю, — ответил он, и голос его был хриплым, чужим, но он был. Он мог говорить. Это было главным. — Но если я остановлюсь — мы умрём. Все. И я умру вместе с вами. Не физически — метафизически. Моё имя исчезнет. Моя память исчезнет. Моя пустота исчезнет. Останется только песня. А я не хочу быть песней. Я хочу быть собой. Даже если «собой» — это ошибка, прореха, дыра. Это — моё. И я не отдам.

Он потянул в последний раз.

Стена не выдержала.

Огромный, чёрный, маслянистый блок — весом в несколько тонн — откололся от скалы и рухнул вниз, сметая всё на своём пути. Он упал не на отряд — на наёмников, которые стояли на выступе. Крик, пыль, паника. Тела, которые летели вниз, в расщелину, в пустоту. Кровь, которая брызгала на камни, отражаясь в свете Стекла, множась, распадаясь, собираясь заново. И тишина. Та самая, которая была плотнее любой ночи, тяжелее любого камня.

Эйнар убрал руку от Стекла.

Мир вернулся. Не постепенно — рывком. Как возвращается сознание после глубокого обморока, когда не понимаешь, где ты, кто ты, зачем ты здесь. Он стоял на мосту, опираясь на посох, и его лицо было мокрым от пота, несмотря на холод. Из носа всё ещё текла кровь — тёмная, густая, почти чёрная — и капала на каменный пол, отражаясь в свете умирающего солнца, множась, распадаясь, собираясь заново. Пальцы дрожали. В затылке пульсировало — не видение, память о видении. Тяжёлая, липкая, как смола.

Альрик закрыл контейнер. Застегнул застёжки — одну, вторую, третью, четвёртую. Стекло спряталось в свою свинцовую, кожаную, промасленную темницу. Свет погас. Трещина осталась внутри. Правда осталась внутри. Как память. Как имя. Как пустота.

Х

— Они отступают! — крикнула Лис, и её единственный глаз сверкал, как уголь, как лезвие, как надежда. — Смотрите! Они бегут! Они...

— Не бегут, — сказал Рагнар, и его голос был низким, рокочущим, но в нём появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую

усмешку. — Они исчезают. Как тени. Как дым. Как память. Стекло раздавило их. Не тела — суть. Они больше не люди. Они — пыль. Песня. Пустота.

Эйнар смотрел на то, что осталось от наёмников. Не тела — тени. Чёрные, маслянистые, пульсирующие. Они лежали на камнях, и из них сочилась пыль — серая, маслянистая, мёртвая. Она не пела. Она молчала. Как будто песня, которая звучала в «звонящий час», наконец устала и уснула. Или не уснула — затаилась. Или не затаилась — просто ждала, когда снова понадобится.

— Мы должны идти, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Пока они не пришли в себя. Пока Корвус не прислал подкрепление. Пока мы ещё живы.

Он повернулся и пошёл по мосту. На другую сторону. К выходу из ущелья. К свободе. К смерти. К пустоте.

Отряд двинулся за ним.

Часть четвёртая. Сломанный щит

XI

Выход из ущелья открылся им через час. Солнце клонилось к закату, тени становились длиннее, и холод пробирался под одежду, под кожу, в кости. Люди молчали. Даже Лис не перебрасывалась короткими фразами с разведчиками. Даже Альрик не бормотал свои древние молитвы. Только шаги, скрип колёс, редкий кашель. И тишина. Та самая, которая была плотнее любой ночи, тяжелее любого камня.

Эйнар шёл первым. Его ноги дрожали — мелко, нервно, в такт сердцу, которое колотилось где-то в горле. Но он шёл. Он шёл. Это было главным. Ирис шла рядом, и её плечо касалось его плеча, и в этом прикосновении, в этом молчании, в этом ожидании, было что-то, от чего Эйнару становилось тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память.

— Ты использовал его, — сказала она, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар. — Ты использовал Стекло в бою. Ты сделал то, что обещал не делать. Ты...

— Я спас нас, — перебил он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую пустоту. — Я спас тебя. Я спас Альрика. Я спас «Серых Волков». Я спас всех, кто шёл за мной. Это не подарок — это необходимость. Если бы я не использовал Стекло, мы бы умерли. Все. И Стекло умерло бы вместе с нами. Или не умерло — досталось Корвусу. Или не досталось — разбилось. Какая разница?

— Ты заплатил, — сказала Ирис, и в её голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую обиду. — Я вижу. Твои волосы... их

стало больше. Белых. Седых. Мёртвых. Ты заплатил за этот обвал. Ты заплатил своей памятью. Своим временем. Своим именем. Сколько у тебя осталось, Эйнар? Сколько ещё платёжек ты выдержишь? Одну? Две? Ни одной?

Он не ответил. Не мог. Не хотел. Правда была тяжелее любого клинка, тяжелее любой лжи, тяжелее любой пустоты. Но он не мог сказать её. Не потому, что боялся — потому, что знал: если он скажет, она не выдержит. А если она не выдержит — он останется один. А один в Пустоте — это смерть. Или исчезновение. Или то и другое вместе.

ХП

Лагерь разбили на краю плато, откуда открывался вид на ущелье, которое они только что прошли. Эйнар сидел у костра, глядя на угли, и слушал песню пыли, которую никто, кроме него, не мог слышать. Ирис сидела рядом, положив голову ему на плечо, и её дыхание было ровным, спокойным, почти механическим. Она спала — или притворялась, что спит. Альрик спал у контейнера, его руки — тонкие, бледные, с суставами, которые выпирали, как камни из высохшей земли — лежали на свинцовой крышке. Лис стояла на страже. «Серые Волки» отдыхали — кто в палатках, кто прямо на земле, подстелив под себя плащи и сёдла.

Эйнар смотрел на звёзды. Они были чужими, далёкими, почти мёртвыми. И в одной из них, в самой яркой, в самой холодной, ему показалось, что он увидел отражение. Не своё — чужое. Тень. Длинную, тонкую, с неестественными пропорциями. Она стояла за его спиной, и её рука лежала на его плече. Не давила — держала. Как хозяин держит своё.

— Наблюдатель, — прошептал он, и имя это прозвучало не как вопрос — как утверждение. — Ты здесь. Ты всегда здесь. Ты смотришь. Ты ждёшь. Ты помнишь. Зачем? Почему ты не оставишь меня? Почему ты не дашь мне умереть? Почему ты не дашь мне исчезнуть?

Тень не ответила. Только рука на плече стала тяжелее. Только пустота внутри стала глубже. Только песня пыли стала громче.

Он закрыл глаза. Увидел темноту — не ту, абсолютную, всепоглощающую, которая ждала его в конце, а ту, внутреннюю, которая была его личной, никем не тронутой пустотой. Она не пульсировала — она дышала. В такт его дыханию. В такт его сердцу. В такт той песне, которую пела пыль.

— Я использовал Стекло, — подумал он, и мысль эта была холодной, как лёд, как вода, как пустота. — Я использовал его как оружие. Я убивал им. Не людей — тени. Не тела — суть. Не память — пустоту. Я заплатил. Своей памятью. Своим временем. Своим именем. Но я спас их. Я спас тех, кто идёт за мной. Я спас тех, кто верит в меня. Я спас тех, кто не сдаётся. Это дорогого стоит. Или ничего не стоит. Какая разница? Я сделал это. Я не сдался. Этого достаточно.

Он уснул под утро — тяжело, беспокойно, с открытыми глазами, которые смотрели в пустоту и не видели ничего. Только тень. Только руку на плече. Только песню пыли. И тишину. Которая ждала. Которая всегда ждала. У которой было время. Вечность.

Часть пятая. Новое знание

XIII

Утром, когда солнце поднялось над горами, разогнав утренний туман, Эйнар созвал командиров. Ворн, Рагнар, Лис, Ирис. Альрик остался у контейнера — он не отходил от Стекла ни на шаг. Сигни не пригласили — она не обиделась. Она была тенью. А тени не приглашают на советы.

— Мы выиграли битву, — сказал Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти. — Но мы проиграли информацию. Корвус знает, что у нас есть Стекло. Знает, что мы можем использовать его в бою. Знает, что мы опасны. Он удвоит награду. Утроит. Пришлёт больше убийц. Больше теней. Больше пустоты.

— Он боится, — сказал Рагнар, и его голос был низким, рокочущим, но в нём появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на усталую, горькую усмешку. — Он боится не тебя — Стекла. Не Стекла — правды. Не правды — пустоты. Он знает, что ты — его отражение. Его тень. Его смерть. И он будет пытаться убить тебя, пока не умрёт сам. Или пока не умрёшь ты.

— Тогда мы должны дойти до него раньше, чем он убьёт нас, — сказал Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Мы ускоряемся. Не останавливаемся. Не спим. Не едим. Только идём. Пока есть силы. Пока есть память. Пока есть имя.

— Ты убьёшь нас, — сказал Ворн, и в его голосе появились новые нотки — не страх, не усталость, а что-то другое, похожее на усталую, горькую обиду. — Люди падают от усталости. Лошади хромают. Припасы тают. Если мы ускоримся — мы потеряем половину отряда за неделю. Не в бою — в переходе. Не от врага — от собственной глупости.

— Тогда мы потеряем половину, — сказал Эйнар, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Но остальные дойдут. А если мы не ускоримся — нас перехватят. Убьют. Разграбят. Продадут. Я выбираю потери в пути. Это честнее, чем смерть от рук наёмников.

Он замолчал. Тишина стала плотной, как смола. Командиры переглядывались, но никто не говорил. Только ветер шумел в скалах, и где-то далеко, на краю лагеря, перекликались часовые. И пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно. Пыль пела о том, кто использовал Стекло. О том, кто не сдался. О том, кто помнил. Даже когда память хотела умереть. Даже когда пустота звала. Даже когда надежда была так близко — рукой подать.

XIV

Отряд двинулся в путь через час. Небо было серым, низким, с рваными облаками, которые плыли медленно и важно, словно у них было много времени. Ветер дул с севера, холодный, колющий, пахнувший снегом и мёрзлой землёй. Люди молчали. Даже Лис не перебрасывалась короткими фразами с разведчиками. Даже Альрик не бормотал свои древние молитвы. Только шаги, скрип колёс, редкий кашель. И тишина. Та самая, которая была плотнее любой ночи, тяжелее любого камня.

Эйнар шёл первым. Его ноги дрожали — мелко, нервно, в такт сердцу, которое колотилось где-то в горле. Но он шёл. Он шёл. Это было главным. Ирис шла рядом, и её плечо касалось его плеча, и в этом прикосновении, в этом молчании, в этом ожидании, было что-то, от чего Эйнару становилось тепло. Не телом — тем местом, где раньше была пустота. Где теперь была память. Память о том, что он не один. Что его держат. Что его помнят. Что его любят.

— Ты знаешь, что Корвус не остановится? — спросила Ирис, и голос её был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как удар.

— Знаю, — ответил Эйнар, и голос его был ровным, спокойным, как у человека, который не боится смерти.

— Ты знаешь, что он пришлёт ещё убийц? Ещё теней? Ещё пустоты?

— Знаю.

— И ты всё равно идёшь?

— Иду, — сказал он, и в его голосе появились новые нотки — не усталость, не спокойствие, а что-то другое, похожее на ледяную, звенящую уверенность. — Потому что если я не пойду — они победят. Не Корвус — пустота. Не пустота — забвение. А я не хочу быть забытым. Я хочу, чтобы меня помнили. Не как героя — как человека, который не сдался. Это всё, что я могу оставить после себя. Не имя — память. Не жизнь — пример. Не победу — попытку.

Она сжала его руку — холодную, дрожащую, но живую — и не отпускала. Пальцы её — тонкие, бледные, с обломанными ногтями, с тёмными пятнами на коже — переплелись с его пальцами, и в этом переплетении, в этой тесноте, в этой боли, было что-то, от чего Эйнару стало тепло. Не телом — тем местом, где раньше было сердце. Где теперь была пустота. Но даже пустота может чувствовать тепло. Если это тепло — чужое. Если это тепло — память. Если это тепло — любовь.

XV

А в «Чёрном Пике», за толстыми стенами, которые не брала ни вода, ни время, ни скверна, Лорд Корвус сидел в своём кресле и смотрел на карту. Она была старой, потрёпанной, с выцветшими чернилами и потёртыми краями. На ней были отмечены все Домены, которые он завоевал и потерял за сорок лет власти. Все крепости, которые он сжёг и которые сожгли у него. Все тропы, по которым ходили его разведчики и разведчики врага. Карта была его жизнью. Его памятью. Его надеждой. И она умирала вместе с ним.

Гонец стоял на коленях, и его лицо было бледным, почти белым, и под кожей пульсировали голубые жилки, как трещины на старом льду. Он не поднимал глаз. Боялся. Знал, что Корвус не прощает неудач. Даже тем, кто не виноват.

— Они прошли, — сказал гонец, и голос его дрожал — от страха, от усталости, от того, что он не мог остановиться. — Пустой... он использовал Стекло. Он обрушил стену. Наши люди... они исчезли. Не умерли — исчезли. Стали пылью. Песней. Пустотой. Мы не смогли остановить его.

Корвус молчал. Долго. Так долго, что гонец начал считать удары своего сердца — раз, два, три, четыре, пять. Потом Корвус медленно поднялся, опираясь на трость — чёрную, маслянистую, с набалдашником в виде ворона. Его лицо было бледным, почти прозрачным, и в глазах — светлых, почти бесцветных, с точечными зрачками — не было страха. Был холод. Холод человека, который выбрал власть вместо памяти. Который продал пустоту. Который стал призраком. И теперь боялся, что другой призрак придёт и займёт его место.

— Пустой использовал Стекло, — повторил он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как приговор. — Значит, он умеет не только смотреть. Он умеет и убивать. Это... это меняет всё.

Он подошёл к окну. Посмотрел на запад, туда, где за горами, за лесами, за пустошами, шёл его враг. Его отражение. Его тень. Его смерть.

— Я не сдамся, Пустой, — прошептал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, но в этой тишине каждое слово звучало как клятва. — Я не дам тебе пройти. Я не дам тебе сказать правду. Я не дам тебе спасти их. Я убью тебя. Или умру сам. Третьего не дано.

Он сжал подлокотник кресла, и пальцы его — длинные, тонкие, с идеально чистыми ногтями — впились в дерево так, что щепки полетели в стороны.

Он ждал. Как всегда ждал. У него было время. Вечность.

Но он знал: Пустой не остановится. Пустой будет идти. Пустой будет идти, пока не дойдёт до конца. Или не упадёт. Или не исчезнет. Или не станет пылью. Или не станет им. Или не станет собой. Или не станет никем.

Какая разница?

Он ждал. И пыль пела — тихо, далёко, почти не слышно.

Пыль пела о том, кто объявил охоту. О том, кто не сдался. О том, кто помнил. Даже когда память хотела умереть. Даже когда пустота звала. Даже когда надежда была так близко — рукой подать.

А в горах, на северо-западе, отряд Эйнара шёл в темноту. Впереди был следующий Домен. Следующий Маршал. Следующая надежда.

Или смерть.

Какая разница?

Они шли.

И пыль пела.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 85

ГЛАВА 86. ОБРАТНАЯ СТОРОНА СИЛЫ

Часть первая. Падение

I

Мир рухнул не сразу. Сначала была тишина — та особенная, звенящая тишина, которая наступает после того, как стихает грохот обвала, и ты понимаешь, что оглох не от грохота, а от того, что внутри, в самой глубине, что-то оборвалось. Эйнар стоял на коленях посреди моста, и его правая рука, только что касавшаяся Стекла, всё ещё была вытянута вперёд, туда, где только что была стена. Пальцы дрожали — мелко, нервно, в такт сердцу, которое колотилось где-то в горле, но с каждым ударом всё слабее, всё реже, всё беспомощнее.

Он не чувствовал боли. Не чувствовал холода. Не чувствовал ничего, кроме пустоты, которая росла внутри него с каждым днём, с каждым шагом, с каждым ударом сердца. Но теперь эта пустота была не просто отсутствием — она была присутствием. Присутствием того, что он сделал. Той платы, которую он заплатил. Того Стекла, которое на мгновение стало его частью, а теперь уходило, оставляя после себя не пустоту — прозрачность.

Он посмотрел на свои пальцы — правой руки, той самой, которая касалась артефакта. Кожа была бледной, почти белой, но не такой, как обычно — не больной, не усталой, а странно гладкой, как полированный камень, как стекло, как поверхность зеркала, в котором никто никогда не отражался. Он пошевелил пальцами. Они слушались, но движение было чужим, как будто не он управлял ими, а кто-то другой, кто-то, кто знал его тело лучше, чем он сам.

— Эйнар? — голос Ирис прозвучал где-то далеко, как будто она говорила из другой комнаты, из другой реальности, из другого времени. — Эйнар, ты... ты жив?

Он хотел ответить, но не смог. Не потому, что не было сил — потому, что слова потеряли смысл. В этой прозрачности, в этом холоде, в этом новом, чужом ощущении собственного тела, слова были лишними. Они были пылью, которую сдувает ветер, прежде чем она успеет осесть.

Он попытался встать. Опираясь на правую руку — ту самую, стеклянную, — он упёрся ладонью в камень. Ладонь была холодной, и он чувствовал не просто холод — он чувствовал структуру камня. Каждую трещину, каждый излом, каждый микроскопический выступ, который касался его кожи. Это было неправильно. Слишком правильно. Слишком подробно. Слишком... реально.

А потом он упал.

Не как падают усталые или раненые — как падает мешок с песком, как падает камень, как падает надежда, когда понимаешь, что она была ложью. Просто в какой-то момент его ноги перестали держать, и он рухнул на колени, потом на бок, потом на спину, глядя в серое, низкое небо, которое кружилось над ним, как хищная птица, выбирающая момент, чтобы клонуть.

— Эйнар! — крикнула Ирис, и этот крик прорвал тишину, как меч прорывает кожу. Она бросилась к нему, упала на колени рядом, схватила за плечи, приподняла. Его голова безвольно

запрокинулась назад, и она увидела его лицо — бледное, почти прозрачное, с тёмными кругами под глазами, которые залегли так глубоко, что, казалось, никогда не исчезнут. Из носа текла кровь — тёмная, густая, почти чёрная — и смешивалась с потом, стекая на камни, впитываясь в трещины, исчезая, как исчезает память, когда некому её помнить.

— Не смей, — прошептала она, и голос её дрожал — от страха, от усталости, от любви, от отчаяния. — Не смей, слышишь? Не смей умирать. Не здесь. Не сейчас. Не так.

Она прижала ухо к его груди.

Тишина.

Не та тишина, которая бывает, когда человек дышит редко и глубоко, и сердце бьётся тихо, но бьётся. Абсолютная. Пустая. Такая же, как в Зеркальном Склепе, когда отражения умирали тысячами, и он умирал вместе с ними. Такая же, как в зале Хранителя, когда иллюзия счастья разбилась о правду, и правда оказалась тяжелее лжи. Такая же, как в центре бури, когда Наблюдатель смотрел на него и выбирал — коснуться или отпустить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.